

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ



Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

2017 Том 17 № 1

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1

<http://journals.rudn.ru/sociology>

Научный журнал

Издается с 2001 г.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Члены редакционной коллегии

Нарбут Н.П. — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *главный редактор* (e-mail: narbut_np@rudn.university)

Троцук И.В. — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *ответственный секретарь редколлегии* (e-mail: trotsuk_iv@rudn.university)

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *заместитель главного редактора*

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Бронзино Л.Ю., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Гаспаршвили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заведующий лабораторией Центра социологических исследований МГУ им. В.М. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Института социологии РАН

Диас Николаас Х., доктор политологии, профессор социологии в Университете Гранады, Университете Малаги и Мадридском университете Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН

Маркович Д., доктор философских наук, профессор Белградского университета (Сербия)

Пан Д., доктор социологических наук, профессор, директор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Сурманидзе Л., профессор кафедры социологии и социальной работы факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (Грузия)

Татарова Г.Г., доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Херпфер К., доктор политических наук, профессор Института политологии Университета Вены; профессор политологии Университета Абердина; президент Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей» (Австрия)

Чамбаликова М., доктор философии, профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шубрт И., доктор философии, профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>).

Языки: русский, английский.

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat.

Журнал входит в список периодических изданий, публикации в которых принимаются к рассмотрению ВАК РФ при защите кандидатских и докторских диссертаций.

Цель и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» («Вестник РУДН. Серия: Социология») — периодическое рецензируемое научное издание, международное как по составу редакционной коллегии, так и по авторам и тематике публикаций.

Цель журнала — публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socjournalrudn@rudn.university.

Редактор: К.В. Зенкин

Компьютерная верстка: Е.П. Довголевская

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socjournalrudn@rudn.university

Подписано в печать 15.02.2017. Выход в свет 22.02.2017. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 16,28. Тираж 500 экз. Заказ № 31. Цена свободная.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов» (РУДН)

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Отпечатано в типографии ИПК РУДН

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3,

тел. (495) 952-04-41; ipk@rudn.university

RUDN University



RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

2017 VOLUME 17 NUMBER 1

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1

<http://journals.rudn.ru/sociology>

Founded in 2001

Founder: PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

EDITORIAL BOARD

Narbut N.P., Editor in Chief, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia) (e-mail: narbut_np@rudn.university)

Trotsuk I.V., Executive Secretary, D.Sc. (Sociology), Associate Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia) (e-mail: trotsuk_iv@rudn.university)

Puzanova Zh.V., Deputy Chief Editor, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Bronzino L.Yu., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Head of Center for Sociological Studies of Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Diez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of Department of Sociology II (Human Ecology and Population) of School of Political Sciences and Sociology of Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences (Russia)

Marković D., D.Sc (Philosophy), Professor of Belgrade State University (Serbia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoiskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research of Belorussian State University (Belorussia)

Surmanidze L., Professor of Sociology and Social Work Division of Faculty of Social and Political Sciences of Tbilisi State University named after I. Javakhishvili (Georgia)

Tatarova G.G., D.Sc (Sociology), Professor, Senior Researcher of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Haerpfel C., D.Sc. (Political Science), Research Professor at the Institute of Political Science at the University of Vienna; Professor Emeritus of Political Science at Aberdeen University; President of the World Values Survey Association (Austria)

Čambálková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair of Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD in Sociology, Professor, Head of Historical Sociology Chair of Faculty of Humanities of Charles University (Czech Republic)

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY
Published by the RUDN University, Moscow, Russia

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year

Languages: Russian, English.

Indexed in Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>.

Aims and Scope

RUDN Journal of Sociology is a peer-reviewed academic journal and an international edition with regard to its editorial board, contributing authors and content.

The journal aims to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (Committee on Publication Ethics).

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues since 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socjournalrudn@rudn.university.

Editor *K.V. Zenkin*

Computer design *E.P. Dovgolevskaya*

Address of the Editorial Board:

3 Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russian Federation
Ph. +7 (495) 952-04-41; e-mail: ipk@rudn.university

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation
Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socjournalrudn@rudn.university

Printing run 500 copies. Open price

Peoples' Friendship University of Russia (the RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Printed at RUDN Publishing House:

3 Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russian Federation
Ph. +7 (495) 952-04-41; e-mail: ipk@rudn.university

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

Бернштейн Г. Политическая экономия аграрных изменений: ключевые понятия и вопросы (на англ. яз.)	7
Шанин Т. Типы исторического «развития», или морфология российской отсталости (Часть 1) (на англ. яз.)	19
Ситников А.В. Методы изучения религии в социальной теории П. Бурдьё	38
Плотичкина Н.В., Довбыш Е.Г. Сетевой фронтир как метафора и миф	51

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Мудров С.А. Европейские христианские церкви и уровень их влияния (на англ. яз.)	63
Музыкант В.Л. Социальные механизмы функционирования медиаинститутов: генезис предпочтений адресата	73
Огородов А.С., Саранчук С.Ю., Чевтаева Н.Г. Корпоративная сплоченность профессионального сообщества в условиях нестабильности рынка труда промышленного региона	83
Хавлла Хошави Мухаммад Хавлла. Южный Курдистан: факторы, влияющие на национальное самосознание иракских курдов	96

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Герасимова К.Г. Конструирование социологических индексов: опыт методической рефлексии	106
Шилина С.А. Политический дискурс как разновидность управленческого дискурса: подходы к определению и интерпретации	116
Орлова И.В., Соколова Т.Д. Роль и функции общественных советов в повышении эффективности деятельности региональных органов государственной власти	124

НАШИ АВТОРЫ	133
--------------------------	-----

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Bernstein H. Political economy of agrarian change: Some key concepts and questions	7
Shanin T. Types of historical development, or Russia's morphology of backwardness (Part 1)	19
Sitnikov A.V. Approaches to the study of religion in Pierre Bourdieu's social theory	38
Plotichkina N.V., Dovbysh E.G. Network frontier as a metaphor and myth	51

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Mudrov S.A. European Christian Churches and their level of influence	63
Mouzykant V.L. Social mechanisms of media institutions: The genesis of recipient's preferences	73
Ogorodov A.S., Saranchuk S.Yu., Chevtaeva N.G. Corporate professional unity under the unstable labor market in the industrial region	83
Hawlla Khoshawi Muhammad Hawlla. South Kurdistan: Factors of the Iraqi Kurds' national identity	96

SOCIOLOGICAL LECTURES

Gerasimova K.G. Sociological indices: Methodological reflection on the construction patterns	106
Shilina S.A. Political discourse as a managerial discourse: Approaches to definition and interpretation	116
Orlova I.V., Sokolova T.D. The role and functions of public councils in enhancing effectiveness of regional state authorities	124

AUTHORS	133
----------------------	-----



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-7-18

POLITICAL ECONOMY OF AGRARIAN CHANGE: SOME KEY CONCEPTS AND QUESTIONS*

H. Bernstein

University of London,
Senate House, Malet St., London WC1E 7HU, UK
(e-mail: henrybernstein@hotmail.co.uk)

Abstract. This paper draws on lectures given in recent years at the China Agricultural University, on author's book *Class Dynamics of Agrarian Change* [1] and on a recent article [3]. The author supplied as few references as possible to very large literature in English on agrarian change both historical and contemporary; there is an ample bibliography in [1], which is expanded in [2–5]. The paper outlines in schematic fashion some key concepts in the political economy of agrarian change with special reference to capitalism historically and today; some key questions posed by the political economy of agrarian change, and how it seeks to investigate and answer them; two sets of more specific questions about agrarian transition to capitalism and agrarian change within capitalism (internal to the countryside, bringing in rural-urban interconnections, pointing towards the place of agriculture within larger 'national' economies, and concerning the character and effects of the capitalist world economy). With the aid of the last group of questions, the author discusses three themes, which they are deployed to investigate: the agrarian origins of capitalism, the distinction between farming and agriculture generated by capitalism, and the fate(s) of peasant farmers in the modern world of capitalism. The author believes that one cannot conceive the emergence and functioning of agriculture in modern capitalism without the centrality and configurations of new sets of dynamics linking agriculture and industry, and the rural and urban, and the local, national and global. The three themes all feed into the fourth and final theme, that of investigating the fate(s) of the peasantry in capitalism today, which resonates longstanding debates of the 'disappearance' or 'persistence' of the peasantry, albeit now in the conditions of contemporary 'globalization'. The author does not deny some of the critique of the contemporary globalization, or at least its effects; his problem is the advocacy of 'solutions' premised on an unconvincing, pre-given and idealized 'peasant way' that lacks the analytical means (and desire) to confront processes of class formation in the countryside.

Key words: political economy; agrarian change; agriculture and industry; capitalism; peasantry; globalization; class formation

This paper outlines, in schematic fashion, some key concepts in the political economy of agrarian change with special reference to capitalism historically and today. It also indicates some of the key questions posed by the political economy of agrarian change, and how it seeks to investigate and answer them. By political economy I mean the field of social relations and processes/dynamics of production and reproduction. Applied to some types of society, and notably capitalist societies, the foundational, although not

* © H. Bernstein, 2016.

exclusive, element for political economy is class relations and dynamics of production and reproduction.

The concerns of political economy can be summarized in four questions concerning social relations of property and production, divisions of labor, distribution of the product of labor, and its uses in reproduction. Those four questions are: Who owns what? Who does what? Who gets what? What do they do with it? As these are analytical questions they can be applied across different sites and scales of social reality from individual farming households through village, local and national socioeconomic units of investigation to the world economy. What is distinctive about political economy as a theoretical framework and approach is its recognition that everything that is produced must be *reproduced*, including the producers on a daily and generational basis. The divisions by use of the social product can be distinguished, following Eric Wolf [15], as: a consumption fund; a replacement fund; a ceremonial fund; and, in the case of class societies, a fund of ‘rent’.

This can be illustrated very briefly in relation to three types of society, using a ‘mode of production’ framework. The first type is ‘subsistence’ societies which reproduce themselves at constant levels of consumption and typically generational reproduction (hence population size) as well (Table 1).

Table 1

‘Subsistence’ societies: a simple schema

Key questions		Social differentiation
Who owns what?	Land = ‘common property’ (and often used nomadically)	—
Who does what?	→	Social divisions of labour by gender (and generation)
Who gets what?	Egalitarian distribution	Qualified by gender and generation
What do they do with it?		
Consumption	Simple reproduction	Some effects of gender and generational differentiation
Replacement	Minimal (simple tools and weapons) + daily and generational reproduction	Some effects of gender and generational differentiation
Ceremonial	Can be large in relation to total social product	Often strong gender differences in complex rituals and other cultural practices

The second ‘type’ is agrarian class societies which emerged and developed from the rise of settled farming some 12,000 years ago. They occupy most of the recorded history and include the great agrarian civilizations of the past, but, for all the achievements of those civilizations, their class relations and dynamics generated no systematic or sustained development of the productive forces. Only with the advent of capitalism do we see ‘a process of self-sustaining economic development characterized by rising labour productivity in farming’ [6. P. 171]. Key characteristics of agrarian class societies are summarised in Table 2.

Table 2

Agrarian class societies: a simple schema

Key questions	Peasants (classes of labour)	Lords ('plus' officials including military chiefs; tax collectors; merchants; priests)
Who owns what?	Instruments of labour	Land and appropriation of labour through rents, taxes, merchants' profit, etc. (and gendered property rights)
Who does what?	Work (including gendered divisions of labour)	Exploit and rule (including gendered rules of authority and succession)
Who gets what?	'Necessary product' (for simple reproduction)	'Surplus product' = fund of rent
What do they do with it?		
Consumption	(minimal) Simple reproduction	Expanded reproduction of wealth and power (including gendered rules of inheritance) ↓
Replacement	Objects and instruments of labour + generational reproduction	Expansion of wealth and power, including military spending
Ceremonial	Community and family rites of passage, etc. (sometimes patronised by lords or their agents)	Building forts, palaces, temples; patronage of religion and the arts; elaborate court ceremonial, etc.

Elements of the third type are set out in Table 3 on the capitalist mode of production (excluding ceremonial fund). The table identifies only the most essential features of capitalism, and, as readers will notice, does not refer explicitly to agrarian class relations and dynamics, to which I turn in a moment.

Table 3

The capitalist mode of production (excluding ceremonial fund)

Key questions	Labour	Capital
Who owns what?	The capacity to work (= 'labour power')	The means of production: objects and instruments of labour
Who does what?	Works (including gendered divisions of labour)	Exploits; organises and manages processes of production (and distribution)
Who gets what?	Wages to obtain the means of subsistence (= 'necessary labour') product'	'Surplus labour' in the form of surplus value (= the source of profit)
What do they do with it?		
Consumption	Simple reproduction (gendered)	Simple reproduction at higher levels of wealth and consumption
Replacement	Daily and generational reproduction (hence gendered)	Expanded reproduction or accumulation = investment of profit to make more profit

First, though, it is necessary to emphasize that the three tables have a heuristic purpose; they are illustrative of key questions of political economy, and highly abbreviated or stylised answers to them. They do *not* in any sense claim to act as a summary of actual historical change and development, but only to (partly) organise its investi-

gation. Such investigation will always reveal a great richness and diversity of actual historical forms and patterns, trajectories and outcomes; in this sense doing history is always about identifying and seeking to explain specificity, entailing many other or additional determinations [13. P.101] than those indicated in the three tables.

In the rest of this paper, I will further illustrate these propositions with reference to the histories of capitalism, starting with a series of more specific questions about agrarian transition to capitalism and agrarian change within capitalism. A first set of questions can be framed as (I) *internal to the countryside*, addressing the following:

1. The ‘commodification of subsistence’ [6], and of the means of subsistence, of (‘peasant’) farmers: are they able to reproduce themselves outside (competitive) market exchange of what they produce (sale of ‘output’) and how they produce it (purchase of ‘inputs’)? This connects with a second theme:
2. The commodification of land: does agrarian transition necessarily involve dispossession of ‘peasant’, small or ‘family’ farmers, whether by direct means (expropriation through enclosure) or indirect means (crises of reproduction exerted by market pressures)?
3. How are new classes of capitalist landed property, agrarian capital, and wage labour formed? By what means and with what effects?
4. How, in what forms, and how far, does accumulation of capital in the means of agricultural production (land and instruments of labour) proceed?
5. Is there accumulation ‘from above’ and/or ‘from below’, the latter through the class differentiation of farmers?
6. What are the effects for production growth in farming, realized through the development of the productive forces and especially growth in labour productivity?

Two further themes push against limiting such processes of change to social forces within the countryside, thereby bringing in (II) *rural-urban interconnections*:

7. On the side of capital, what is the significance, and its effects, of (‘agrarian) capital beyond the countryside’ that invests in farm production directly or indirectly, the latter, for example, through contract farming?
8. On the side of labour, what is the significance of ‘rural labour beyond the farm’ involving rural industrialization (from older to more contemporary forms of non-agricultural wage employment) or regular rural labour migration, as vital elements of the incomes and reproduction of classes of labour in the countryside (who may also engage in some ‘own account’ farming)?

Themes 7 and 8 (together with 6) point towards (III) the place of agriculture within larger ‘national’ economies, which becomes more explicit with a further theme:

9. What are the contributions of agriculture to industrialization? Do (particular) states facilitate, hinder or ‘block’ (i) the transfer of agricultural surpluses to industrial accumulation by direct taxation of agrarian classes or indirectly through the terms of exchange between agriculture and industry? (ii) the development of a home market integrating exchange between agriculture and industry? How? And how much?

A final theme concerns the character and effects of (IV) the capitalist *world economy*:

10. What are the effects for agrarian change in particular places at particular times of the formation and interactions of (i) international divisions of labour in agricultural production, international trade in agricultural commodities, how trade is organized and financed, and international investment in agriculture, and (ii) the international state system?

Table 4 lists these questions by their clusters.

Table 4

Questions about agrarian change

Themes	Locus	Questions
I Agrarian class formation	Countryside	1—5
Growth of production and productivity		6
II Rural-urban interconnections:	'National' [and international → IV]	7
◆ 'agrarian' capital beyond the countryside'		
◆ 'rural labour beyond the farm'		
III Agrarian basis of industrialization	'National'	9
IV International divisions of agrarian labour, trade, etc.	Capitalist world economy	10

With the aid of these questions, in the rest of the paper I will discuss three themes, which they are deployed to investigate: the agrarian origins of capitalism, the distinction between farming and agriculture generated by capitalism, and the fate(s) of peasant farmers in the modern worlds of capitalism. Once again this is for illustrative purposes, rather than claiming any comprehensive survey, let alone conclusive results.

With regard to the first theme, the questions listed, and grouped, are familiar from longstanding, and continuing, historical debates about the agrarian origins of capitalism, and, by extension, about the dynamics of change in countrysides since then, especially (but not only) in Asia, Africa and Latin America which connects with the third theme (below). There remains sharp disagreement within political economy concerning the origins and early development of capitalism, which can be classified in terms of two opposing kinds of arguments. One, often characterised as the 'transition from feudalism to capitalism', explains the emergence of capitalism through changes in relations and dynamics of farming in Western Europe, and especially England, from the fifteenth and sixteenth centuries, with agrarian capitalism laying the foundation for subsequent capitalist industrialisation. The other approach, in a variety of versions, is that capitalism could only emerge through the 'world- historical' formation of an international economy, in the first instance centred on the Atlantic world, from, say, the sixteenth century onwards. The dynamic of that emergent world economy, to which European colonisation (Spanish, Portuguese, Dutch, English and French) was central, was to provide the sources of capital accumulation (or 'primitive accumulation') in (Western) Europe. It is worth noting that while the first position has focussed on and explored the cluster of questions (1—6) concerning change 'internal to the countryside' (of England, the Netherlands, France, Germany), evidently the final question (10) is key to the arguments of the second position without displacing the importance of the other questions (1—9).

My second theme is a substantive proposition that has been argued in my own work, namely how capitalism — and specifically industrial capitalism from the nineteenth century — generated a difference between farming and agriculture, with fundamental effects for farming and farmers. ‘Farming’ and ‘agriculture’ are often used as synonyms but the distinction between them that I propose has a substantive theoretical and historical purpose and is not merely semantic. Farming is what farmers do and have always done, albeit in an immense variety of social, ecological and technical conditions. Subject to some important qualifications, in agrarian societies before the advent of capitalism — in both its European heartlands and colonies — farming was what most people did, and did on very local scales. Farmers connected to non-farmers to some degree — through the exactions of rents and taxes, and through typically localised divisions of labour and exchanges — but the impact on farming of wider divisions of labour, processes of technical change, and market dynamics was very limited relative to the formation of ‘the agricultural sector’ in capitalism. The notion of ‘agriculture’ or the ‘agricultural sector’ in the social division of labour, and as an object of policy and politics, was invented and applied in the development of capitalism. Karl Marx noted that social divisions of labour between agriculture and industry, and between countryside and town (as well as between manual and mental labour) emerged as characteristic features of capitalism. It only made sense to distinguish an agricultural sector when an industrial sector was rising to prominence in the heartlands of capitalism, which carried over later when industrialisation became the main objective of (state) socialist development in the USSR, China and elsewhere, and not least in ‘national development’ in the countries of the South following their independence from colonial rule.

By ‘agriculture’ or ‘the agricultural sector’ in modern (capitalist) economies, I mean farming *together with* all those economic interests, and their specialised institutions and practices, ‘upstream’ and ‘downstream of farming’ that affect the activities and reproduction of farmers. ‘Upstream’ of farming refers to the ways in which the conditions of production are secured before farming itself can begin, including the supply of instruments of labour or ‘inputs’ — tools, fertilisers, seeds — as well as markets for land, labour and credit. ‘Downstream’ of farming refers to what happens to crops and animals when they leave the farm — their marketing, processing and distribution — and how this affects the incomes of farmers, hence their reproduction. Powerful agents upstream and downstream of farming in capitalist agriculture today are exemplified by corporate ‘agri-input’ and ‘agro-food’ capital respectively, in the terms used by T. Weis [14].

‘Agriculture’ in this sense was not given immediately by the origins of capitalism but rather emerged in the subsequent development of capitalism on a world scale, and consolidated from the, say, the 1870s. Its markers were: (1) the emergence of the ‘second industrial revolution’, based in steel, chemicals, electricity and petroleum (the first was based in iron, coal and steam power), which vastly accelerated the development of the productive forces in farming, as well as in food processing, storage, transport, and so on; (2) the first ‘international food regime’ (IFR) from 1970 to 1914, based in wheat: ‘the first price-governed [international] market in an essential means of life’ [11. P. 125]; and (3) the sources of supply of the first IFR in vast frontiers of mostly virgin land,

sparsely populated and little cultivated previously — in Argentina, Australia, Canada and the USA (also Siberia and the Punjab) — now dedicated to the specialised production of ‘essential means of life’ for export to a rapidly industrialising and urbanising Europe. In this conjuncture, Chicago and its agrarian hinterland became the key locus of emergent agribusiness and its institutional innovations upstream and downstream of farming, for example, futures markets [8].

A global division of labour in agricultural production and trade emerged from the 1870s, comprising [12]: (1) new zones of grain and meat production in the ‘neo-Europes’ [9] established by settler colonialism in the temperate Americas, and in parts of Southern Africa, Australia and New Zealand; (2) more diversified patterns of farming in Europe (together with accelerating rural out-migration); and (3) specialisation in tropical export crops in colonial Asia and Africa, and the tropical zones of the former colonies of Latin America (whether grown on peasant or capitalist farms or industrial plantations). Thus, while debate of agrarian ‘transition from feudalism to capitalism’, centred on changes in farming, is rooted in the (earlier) historical experiences of the ‘old’ Europe (England, the Low Countries, France, Germany), and was then extended to other countries such as late nineteenth-century Russia and India after independence, the formation of modern capitalist agriculture is rooted in developments in the world economy from the last third of the nineteenth century.

Concerning the emergence of agriculture as an object of policy and politics, on the supply side in the second half of the nineteenth century ‘specialised commodity production ... [was] actively promoted by settler states and immigration policy, and the establishment of social infrastructure, mainly railways and credit facilities’ — the basis of the first IFR [12. P. 101]. We can also note that, after the Second World War, the strategic subsidies and practices of US wheat exports under PL480 formed the basis of the second IFR (1940s—1973) in H. Friedmann’s compelling account [10]. On the demand side, an emblematic moment was the repeal of the Corn Laws in Britain in 1846; these had protected British farmers and landowners, and their commercial rents, from cheaper imported grain. This occurred before my suggested historical watershed of the 1870s, but, significantly, it did so in the most industrialised capitalist country of the time, and anticipated that watershed, during which Britain imposed ‘free trade’ in food staples on other European countries.

In short, one cannot conceive the emergence and functioning of agriculture in modern capitalism without the centrality and configurations of new sets of dynamics linking agriculture and industry, and the rural and urban, and indeed the local, national and global. Of course, much could be added to amplify this argument, including:

- (1) the vast exodus from European countrysides to populate Europe’s *and* North and Latin America’s growing cities and classes of labour;
- (2) the ways in which industrialisation and other sources of demand for labour (such as mining) generated capital’s search for cheaper food staples to reduce the costs of labour — a typically brutal process that drove the development of the productive forces in farming (and typically ecological destruction), at the same time as factory production destroyed the value of rural handicrafts and artisanal production;

- (3) peasants' growing use over time of industrially manufactured instruments of labour in their farming (and of industrially manufactured means of consumption);
- (4) the extension and intensification of peasant seasonal wage labour, not only on capitalist farms but also in mines, factories, construction, and so on; and
- (5) the historical and contemporary evidence of 'rural labour beyond the farm': the diverse ways in which households and wider family groupings organise themselves in combinations of rural and urban residence, own-account-farming and off-farm employment (including self-employment in the urban informal economy), in order to meet the needs of simple reproduction.

I turn now to my third theme, which is once more most topical and contentious, namely the fate(s) of peasant farmers in the modern worlds of capitalism. This is, inevitably, a very large theme. For the sake of simplicity, two major perspectives or approaches can be distinguished. One is populist ('pro-peasant', 'pro-farmer'), of which the most notable theorist was A.V. Chayanov; the other is a materialist political economy, the stance taken in this article, in which the work of V.I. Lenin is of special importance — significantly both Russian. I will outline four constituent themes and sets of issues, namely (i) the 'commodification of subsistence' in capitalism; (ii) the nature of agricultural petty commodity production in capitalism; (iii) class differentiation of 'peasants' or 'family farmers'; and (iv) investigating the fate(s) of the peasantry today. In each case, I sketch a materialist position and then note populist alternatives.

The 'commodification of subsistence' in capitalism was mentioned already in the first of my 10 questions above. It refers to the processes through which 'peasants'/small farmers are integrated in commodity relations in the development of capitalism, and through which they have to reproduce themselves. Of course, this does not happen immediately, evenly, or through the same mechanisms. For example, in both Europe and the colonial world, direct political means — of expropriation (or the threat of expropriation), imposed delivery of particular crops, and taxation in money (rather than kind) — were used to compel peasants into market production. The depth and degree of such 'commodification of subsistence' did not follow linear trajectories, but a useful index of extent and intensity is a sequence of commodification (a) of crops and livestock produced by peasant farmers; (b) of land; (c) of instruments of production (e.g. factory made ploughs and hoes), and (d) of labor power. A particular moment is reached when peasants/small farmers cannot reproduce themselves outside commodity relations (see further below).

Some idealized versions of a populist position characterize peasant farming as a distinctive form of 'subsistence' production in which households attempt to retain 'autonomy', or control over their own reproduction. More sophisticated versions, following Chayanov, recognize that production for markets becomes increasingly central to peasant reproduction in capitalism, but is still marked by the desire for as much autonomy as possible. That is, peasants/family farmers search for and find ways of regulating, or indeed limiting, their involvement in markets, and aim to achieve an 'optimal' mix for themselves of production for household consumption (or local exchange with other households), for example of food, and commodity production to earn money to pay taxes and/or rents, to purchase some (limited) means of production and some (limited) means of consumption. Moreover, and in line with one of Chayanov's central propositions,

the ways in which peasants engage in markets follows a different logic to that of capitalist enterprises: for the former a calculus of (simple) reproduction versus the latter's calculus of profit (and expanded reproduction).

The second theme is that of petty commodity production. The 'commodification of subsistence' leads to the constitution of peasant farms as petty commodity enterprises in capitalism, that is, combining capital and labor. In short, they need to reproduce both their means of production (land, tools, seeds, livestock, etc.) as capital and themselves as labor. Pressure on reproduction often leads to the familiar condition of peasant indebtedness. The principal point for agrarian political economy is that while not all aspects of peasant farming are (evenly) commodified, a determining point is reached when peasants cannot reproduce themselves outside markets, when indeed commodity relations are *internalized* in the workings of peasant households and enterprises.

Agrarian populism can recognize the pressures that market conditions impose on the reproduction of peasant households. Indeed, as Chayanov [7. P. 40] grimly remarked: 'In the course of the most ferocious struggle for existence, the...[small farmer] who knows how to starve is the one who is best adapted'. However, populists counter the kind of theorization of petty commodity production suggested by arguing that the stock of peasant means of production does not constitute 'capital', even if it has to be replaced, at least in part, through market transactions, and that the logic of household reproduction shapes the repertoires of peasant practices according to the abiding value of 'autonomy'.

These differences between political economy and populist approaches become more evident in the context of my third theme, that of class differentiation of the peasantry emphasized by Lenin. Marx had a kind of 'enclosure' model of the development of capitalist agriculture, in which formerly peasant land was appropriated for larger-scale capitalist farming, and peasants thereby dispossessed became a major component of the proletariat. Lenin's innovation was to propose a model of the development of capitalist agriculture through class differentiation 'from below'. This remains a central analytic of agrarian political economy even if Lenin is regarded as having exaggerated the extent of peasant class differentiation in Russia at the end of the nineteenth century.

As is well know, Lenin distinguished three (emergent) classes as peasants were increasingly incorporated in capitalist commodity relations: rich, middle and poor peasants. Expressing the dynamic that Lenin identified in terms of the model of petty commodity production outlined above, we can suggest the following. 'Rich' peasants are those (typically a small minority) able to reproduce themselves as capital at a greater scale than their reproduction as labor. They acquire more land and instruments of labor (facilitated by access to credit for investment) than can be worked by household members and therefore begin to employ workers for the expanded scale of their enterprises. 'Middle' peasants are able to reproduce themselves as both capital and labor on a more or less constant scale. 'Poor' peasants are unable to reproduce themselves as capital — to maintain landholdings, to purchase tools, fertilizers, seeds, etc. adequate for reproduction — and have to resort to selling their labor power to others, in countryside or town, in a constant struggle for household reproduction. Indeed, it can be suggested that many of them, perhaps a majority in some countrysides today, are better understood as 'classes of labor', who reproduce themselves primarily through wage work, even if they retain some base in farming on however small a scale: so-called 'sub-subsistence farming' (for example, about two-thirds of those classified as 'farmers' in India today).

The populist response to this approach is that class differentiation among the peasantry is almost always likely to be exaggerated, for various reasons. One well-known reason stems from Chayanov's studies of the Russia of his day, namely that observable differences in the landholdings and other means of production of peasant households are due to expansion and contraction over the domestic cycle of the household. This so-called 'demographic differentiation' is cyclical and self-adjusting *versus* the tendencies to persistent and enduring class differentiation emphasized by Lenin. Another (strong) limit to peasant class differentiation, adduced in many cases, is the (continuing) potency of 'levelling' mechanisms that operate in basically egalitarian peasant communities.

My own view is that a materialist approach to class differentiation of the peasantry does not (or at least should not) rule out instances of demographic differentiation or community distributive mechanisms: where they exist, their degree of importance, and, indeed, where they cease to exist, are always questions of *empirical* investigation, and not theoretical deduction. By the same token, a populist approach should not dismiss *a priori*, or seek to explain away, peasant class differentiation in the countryside when that occurs, sometimes in 'hidden' ways. For example, 'snapshot' (static) surveys of peasant farming typically omit those who have left the countryside, or are otherwise not farming, because they were unable to reproduce themselves as farmers. Moreover, when a relatively robust 'middle' peasantry — that formation close to the heart of agrarian populism — is found, it can itself be the product of class differentiation when the 'entry' and reproduction costs of agricultural petty commodity production have risen, to the cost of 'poor' peasants. Moreover, the investment of resources acquired from outside the household farm is so often central to such 'middle peasant' reproduction, which also commonly entails some employment of wage labor from classes of labor in the countryside. In short, even 'middle peasant' reproduction, when and where it occurs, cannot be regarded as the expression of any (pre-given) 'peasant logic' or 'peasant way' of the kinds proposed by agrarian populism.

The three themes and their questions, outlined so far, all feed into the fourth and final theme, that of investigating the fate(s) of the peasantry in capitalism today, which resonates longstanding debates of the 'disappearance' or 'persistence' of the peasantry, albeit now in the conditions of contemporary 'globalization'. On one hand, there is wide agreement about the declining proportions of 'peasant' or 'family' farmers in the economically active population of most (or all) countries, and, some agreement, if to a lesser degree, about their declining shares of overall agricultural production. On the other hand, materialist political economy and agrarian populism have different perspectives on these tendencies. The former investigates them through processes noted above, like the 'commodification of subsistence', the dynamics of petty commodity production in capitalism, class (and gender) differentiation of small farmers, and the growing numbers of rural-based classes of labor, plus the practices of 'agrarian capital beyond the farm' including agribusiness companies and their effects, and the nature and effects of state policies. Indeed, special attention must be paid to the effects of globalizing agricultural markets and agribusiness (and globalizing capitalism more generally) for class formation and contradictions in today's countryside.

Global agribusiness and harmful state policies are highlighted, sometimes almost exclusively — at the cost of attention to class differentiation in the countryside — in populist analysis which recognizes the consequent and enormous pressures on the reproduction of small farmers in capitalism today. At the same time, agrarian populism embraces and applauds what it sees as the resilience of ‘peasant logic’ (Chayanov) and the ‘peasant way’ (*La Via Campesina*) in struggles for socially just and ecologically friendly farming premised on the striving for (small) farmer ‘autonomy’, for example, in notions of ‘food sovereignty’. Indeed, this leads some populist writers to argue that ‘peasant’ is above all a political category rather than an analytical one as it is for materialist political economy. And here there is a central paradox: that agrarian populism, which sees ‘peasants’ or ‘people of the land’ as ‘capital’s other’ [2], displays much greater ideological and political vitality than anything associated with materialist political economy. The translation of the latter into political programs and practices is, of course, affected adversely by the widespread decline of communist and socialist parties in the current conjuncture. Moreover, much of the topical attacks on key aspects of contemporary capitalism that affect agriculture and the fortunes of farmers — ‘industrialization’ (and financialization) of farming and food systems, the deregulation of international trade, genetic engineering and the privatization of ‘intellectual property rights’ in seeds, ‘land grabbing’, and so — are informed by populist perspectives for which ‘the peasant way’ is the necessary antidote and alternative.

My own view, from the perspective of political economy, is not to deny some of the critique of contemporary globalization, or at least its effects, advanced by agrarian populism. Rather my problem with such populism is its advocacy of ‘solutions’ premised on an unconvincing, pre-given and idealized ‘peasant way’ that lacks the analytical means (and desire) to confront processes of class formation in the countryside. Investigating the highly diverse, dynamic and contradictory processes of agrarian change in the world(s) of capitalism today, demands a central focus on class formation in the countryside including widespread patterns of ‘rural labor beyond the farm’, their causes and consequences.

REFERENCES

- [1] Bernstein H. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood, 2010.
- [2] Bernstein H. Food sovereignty via the “peasant path”. A sceptical view. *Journal of Peasant Studies*. 2014;41(6):1031—1063.
- [3] Bernstein H. Some reflections on agrarian change in China. *Journal of Agrarian Change*. 2015;15(2):454—477.
- [4] Bernstein H. Agriculture/industry, rural/urban, peasants/workers: some reflections on poverty, persistence and change. *Poverty and Persistence of the Peasantry*. J. Boltvinik, S.A. Mann (Eds.). L.: Zed Books, 2016.
- [5] Bernstein H. Revisiting agrarian transition: reflections on long histories and current realities. *Critical Perspectives in Agrarian Transition: India in the Global Debate*. B. Mohanty (Ed.). L.: Routledge, 2016.
- [6] Brenner R. The Low Countries in the transition to capitalism. *Journal of Agrarian Change*. 2001;1(2):169—241.
- [7] Chayanov A.V. *The Theory of Peasant Co-operatives*. L.: I.B. Tauris, 1991.
- [8] Cronon W. *Nature’s Metropolis. Chicago and the Great West*. N.Y.: W.W. Norton, 1991.

- [9] Crosby A.W. *Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- [10] Friedmann H. The political economy of food: A global crisis. *New Left Review*. 1993;197:29—57.
- [11] Friedmann H. Feeding the empire: the pathologies of globalized agriculture. *The Socialist Register 2005*. L. Panitch, C. Leys (Eds.). L.: Merlin Press, 2004.
- [12] Friedmann H., P. McMichael. Agriculture and the state system: the rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologica Ruralis*. 1989;29(2):93—117.
- [13] Marx K. *Grundrisse*. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
- [14] Weis T. *The Global Food Economy. The Battle for the Future of Farming*. L.: Zed, 2007.
- [15] Wolf E. *Peasants*. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 1966.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-7-18

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ АГРАРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ВОПРОСЫ*

Г. Бернштейн

Университет Лондона,
Сенат Хаус, ул. Малет, Лондон, WC1E 7HU, Великобритания
(e-mail: henrybernstein@hotmail.co.uk)

Статья написана по мотивам лекций, прочитанных в Китайском сельскохозяйственном университете Пекина, а также монографии «Class Dynamics of Agrarian Change» [1]¹ и недавно вышедшей статьи «Some reflections on agrarian change in China» («Некоторые соображения об аграрных трансформациях в Китае») [3]. Библиографический список статьи максимально сокращен, поскольку литература по теме крайне обширна и приведена в других работах автора [1—5]. Статья схематично описывает ключевые понятия политической экономии аграрных изменений, фокусируясь на истории становления и нынешнем состоянии капитализма; формулирует основные вопросы политической экономии аграрных изменений и возможные направления поисков ответов на них; предлагает два набора более конкретных вопросов об аграрном переходе к капитализму и об аграрных трансформациях внутри капиталистического общества (на сельских территориях, с учетом село-городских взаимосвязей, положения сельского хозяйства внутри «национальных» экономик, а также характера и последствий становления мировой капиталистической системы). С помощью последней группы вопросов автор рассматривает три темы: аграрные истоки капитализма, отличие земледельческих практик прошлого от сельского хозяйства капиталистического типа и судьбы крестьян в современном капиталистическом мире. По мнению автора, нельзя понять возникновение и функционирование капиталистического сельского хозяйства, не исследуя его нынешние взаимосвязи с промышленностью и с городом, а также взаимодействие локального, национального и глобального. Три названные темы порождают еще одну — причины неутраченных дискуссий об исчезновении или сохранении крестьянства, которые продолжаются и в условиях глобализации. Автор не отрицает ряда ее негативных моментов и особенно последствий, но скорее категорически не приемлет неубедительную идеологическую идеализацию «крестьянского пути», которая, по сути, отказывается анализировать процессы формирования классов на селе.

Ключевые слова: политическая экономия; аграрные изменения; сельское хозяйство и промышленность; капитализм; крестьянство; глобализация; формирование классов

* © Бернштейн Г., 2016.

¹ Русское издание книги вышло в 2016 г.: Бернштейн Г. Социальная динамика аграрных изменений / Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 184 с.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-19-37

TYPES OF HISTORICAL DEVELOPMENT, OR RUSSIA'S MORPHOLOGY OF "BACKWARDNESS" (Part 1)*

T. Shanin

University of Manchester,
Oxford Rd., Manchester, M13 9PL, UK
(e-mail: shanin@universitas.ru)

Abstract. With this paper, we start a series of publications on the theoretical aspects of Teodor Shanin's conception of Russia as a 'developing society' first published in 1986 in the book *Russia as a 'Developing Society'. The Roots of Otherness: Russia's Turn of Century. Vol. 1*. In the next issue of the journal, we will publish the second part of the fifth chapter of the book, as well as the refereed translation of the whole chapter. In this part, the author considers the key conceptual approaches to the notion of social and economic development on the global scale and in the historical framework. Thus, the variety of convergence theories assumed that whatever the rhetoric or the crudities of Russia's socialist experiment, it was not much more than a gigantic exercise in 'belated industrialization' and in converging towards closing 'the gap' between Western Europe or the USA and the rest of the globe. The modernization theories divided the world into 'three worlds' — First, Second and Third — and assumed that the Second World would turn into First, while the Third World should go a much longer way. However, the author considers it much more important to specify what is meant by the category of societies defined as 'developing', 'backward', 'underdeveloped', 'emerging', etc. There are essentially two ways to delimit such entities structurally: the first treats 'developing societies' as backward and proceeding towards modernity along the necessary scale of social and economic advance, but for some reasons not yet 'there' or else moving 'there' too slowly; the second approach assumes different venues of 'development', with the 'developing societies' representing a category of this. Further, the article identifies possibilities and limits of different theoretical perspectives, in particular, regarding the Russian intellectual and social-economic history.

Key words: developing society; historical development; backwardness; otherness; convergence theory; modernization theory; 'the gap'; three worlds

In 1946, Timasheff published in London an extensive treatment of Russia's development patterns. In a 'mental experiment', he extrapolated forward the major trends of the Russian economic and social history between the 1890s and 1913. He concluded that 'if undisturbed', Russia would have reached by 1940 levels of industrialization, income and education similar if not higher than those actually achieved under the Soviet rule, a rule that simultaneously 'threw back Russian philosophy and arts at least a century' [62. P. 34, 394—395]. Far from being a necessary removal of the obstacles to development, 'the communist revolution has been a dangerous illness, but the Russians possess enough vital energy to overcome it' [63. P.440]. Central to this argument, the economic growth of prerevolutionary Russia at the rates recorded in 1909—1913 was

* © T. Shanin, 2016.

assumed to be self-perpetuating into the future — a ‘take off’ to join ‘the West’ (i.e. the club of the countries of well-being, advanced technology, international power, high educational attainment and further continuous ascent).

The time that has elapsed has not diminished the appeal of Timasheff way of thinking. Quite a number of more recent studies have echoed directly his argument without referring to him or enriching on his analysis [65]. A further twist to this was given by a variety of convergence theories, which extended the argument forward by assuming that whatever the rhetoric or the crudities of Russia’s socialist experiment, it has been not much more than a gigantic exercise in ‘belated industrialization’. Stalin was necessary, explicable (and essentially justifiable) as an economic ‘take-off’ device. With the industrialization targets essentially met, the USSR was converging towards the one and only known and possible ‘advanced world’ of universalized electronics and bureaucratized plenty, mapped out by the way in which we ourselves thrive (see the most recent indexes of GNP, cars, or plastic bags per capita).

Nonetheless, the prospect of universal economic growth and social ascent closing ‘the gap’ between Western Europe or the USA and the rest of the globe is very far removed from the evidence of the world we live in. There have been rapid and deep changes all over the world but the division into ‘three worlds’ first debated in the 1950s still applies in its essential outline. Despite some appearances, the Second World (‘centrally planned’, ‘socialist’) did not turn into First (‘developed’, ‘advanced capitalist’), but it is the Third World that interests us here. Since the early 1950s, when a non-problematic modernization theory offered all round the ex-colonial world optimistic predictions and do-it-yourself kits for ‘take-off’ towards a US-like modernity, both the official reports and the explanatory theories have grown increasingly alarming [56]. The basic parameter of the issue was well stated by A.G. Frank as that of ‘thirty developed countries having less than 30% of the current population and foreseeably only 20% of the world population in the year 2000, which now account for approximately 90% of the world’s income, financial resources and steel production... 95% of the world scientific and technological production... consume over 60% of the worlds food’ [21. P. 153] and what such figures mean for ‘the rest’.

More decisive is the record of the ‘catching-up’ processes. During the four decades that followed the Second World War, despite clear diversification among them none of the major ‘developing societies’ of the 1950s and 1960s came to resemble Western Europe or the USA. That includes those ‘developing societies’ that benefited from the oil windfall (and whose GNP rocketed accordingly) as well as those who have shown rapid industrialization and/or urbanization. Time and time again optimistic frenzy, based on hastily read indices of ‘economic growth’, has swept the press, which declared yet another candidate for the closing of ‘the gap’ or even for the rapid overtaking of ‘the West’: Brazil, Mexico, Iran, India, Nigeria, etc. It usually ended up with yet another national bankruptcy, military *coup d’etat* or revolt of the poor. The economics of different countries change rapidly but one clearly cannot understand and predict major processes by comparing the GNPs, and extrapolating elements of ‘economic growth’ into the future. Moreover, the diversity is not only ‘economic’. The global map of dis-

eases, illiteracy or of military dictatorship and systematic use of torture, and their correlations with the GNPs, bear testimony to the combined nature of the phenomena. So does the comparison of those indices and socio-economic polarization within the countries, which consistently demonstrated a particularly steep contrast in income as typical of the ‘developing societies’. A long-term multiple and substantively growing ‘gap’ between the ‘West’ and the bulk of the ‘developing’ societies (i.e. the countries at the ‘top’ and the ‘bottom’ of the UN global scale) has been documented [29; 71].

It is this experience, central to the realities of power and of economy as well as to the self-images, theories and ideologies of our own generation that should be related to Russia at the turn of the XX century. Was the Russian development different in kind from that of the recent experience of the ‘developing societies’ (i.e. was Timasheff’s projection into the future valid for pre-revolutionary Russia)? Alternatively, was Russia, a ‘developing society’ in the sense we attach nowadays to this term (i.e. a society that is not only poor and/or ‘backward’ but shows a major gap-sustaining or gap-generating tendency of its economy and social structure)? To put this in the words of a recent Soviet writer, is it true that ‘catastrophe nearly met Russia ...which was saved from national destruction and the grip of backwardness ...by the great October socialist revolution?’ [64. P. 13—14].

To place Russia in those terms, a detour is necessary to specify what is meant by the category of societies, even the very name of which has shifted puzzlingly every few years since the 1950s: ‘backward’, ‘underdeveloped’, ‘emerging’, ‘developing’, etc. [1]. Quantitative designations aside (e.g. ‘all the countries with less than \$400 GNP per capita’) there are essentially two ways to delimit such entities structurally. The first treats ‘developing societies’ as backward, that is, as societies proceeding towards modernity along the necessary scale of social and economic advance but for some reasons (to be filled in) not yet ‘there’ or else moving ‘there’ too slowly (the impediment to be ascertained and rectified). The second approach assumes different venues of ‘development’, with the ‘developing societies’ representing a category of this. This fundamental division in the logic of analysis has cross-cut specific topics, different levels of generalization as well as major ideological camps. Moreover, this particular piece of diverse theorizing has been playing a major role in the structuring of political strategies and confrontations. We shall begin by a short sketch of its intellectual history.

The model of industrial capitalism based on XIXth century England offered considerable illumination but also exercised a somewhat hypnotic impact on scholars and laymen alike. The roots of that fascination are deep and carry considerable conviction. Despite the human misery and the new problems it produced, industrial capitalism has ‘delivered the goods’ of material abundance on a scale never before known, and did it at breakneck speed. It put science to direct day-to-day use, both in a technological permanent revolution and in the opening up for quantification of major spheres of social analysis. It offered new experience and hope of material well-being to masses of humans and of the rational resolution of mankind’s major ills. It acted as a global unifying and transforming force, to become in the eyes of many the contemporary Midas myth and the Bible’s book of Genesis rolled into one — what it touched turned into gold, what it produced or socially constructed took on its own likeness.

Timasheff's view of Russia and the convergence theory are particular cases of the modernization theory, reflecting directly those illuminations and fascinations. This paradigm posited the global inevitability, the unilinear nature and the fundamental merit of 'progress' (i.e. of advance along the axis of development marked out by the capitalist industrial societies) [51]. Its conceptual parentage lies with XIXth century evolutionism and classical economics — as much a philosophy and a science of the new world as an apotheosis of capitalism. Its essence has been the interpretation of history *via* the advancing social division of labor related to the rise of new technologies and the transformation of social institutions [17; 38; 49; 59]. The XXth century neoclassical school in economics and functionalism within sociology have continued that line of thought, accentuating and/or building into it a particular dimension of optimism concerning the mechanisms for the resolution of social problems — the assumption and the metaphor of 'social balance'. Any distortion of equilibrium and of homogeneity would produce rectifying forces, the larger the distortion the stronger the rectifying force.

The fact of a 'social gap', international and intra-national, would have produced thereby its own remedies. The evolutionism of the left, associated particularly with the theories developed by the 'orthodox' wing of the 2nd International, accepted all this but went a step further by placing socialism as the next-to-capitalism, necessary and final 'stage' [58; 67]. Socialism was the ultimate 'mode of production' and of equilibrium due to convert the material breakthrough of capitalism to the use of collective producers. Witte's dream of the Russian tsardom as the new industrial giant, the books of Plekhanov (and in particular the twist given to them by the 'legal Marxists' of Russia), Stalin's manner of executing Lenin's unfortunate slogan about communism being 'Soviet rule plus the electrification of the whole country' and Warren's posthumous book published in London, differ radically, but are of a kind in being impregnated by the essential unilinearism and the idea of 'progress' implied by it [50; 60; 69]. It is in that context that the *Oxford Dictionary's* description of 'developing society' should be read as a testimony of West European common sense entrenched by its media: "a poor or primitive country which is developing higher economic and social conditions".

In fact, images of progress seen mainly as the industrialization of backward hinterlands carry considerable ambivalence, especially for socialists and liberals faced with colonialism. Capitalism has been progressive but also repressive and regressive even on its own terms. Capitalism-related colonialism has transformed 'native' societies, but has also suppressed their industries and popular will while twisting objectionably the metropolitan societies and economies. Hobson's *Imperialism* published in 1902 had followed critically that lead. Within the councils of the 2nd International, Marxist social critique and analysis had also increasingly taken a global form, beginning with the works of Hilferding and Luxemburg followed by Bukharin and Lenin [4; 13; 26; 28; 37; 41; 43; 47]. Marxist theory of imperialism came to analyze the exploitation of colonies and its place within the metropolitan economies [33; 36], but it said little of the colonized societies.

Shifting the scene by two generations, the aftermath of the Second World War saw the appearance of new post-colonial world, while the UN and television ensured that

the consciousness of a 'Third World' spread widely. As the modernization theory and policies guided by it in the 1950s and 1960s failed to deliver the goods, new explanation was needed to throw light on its main failure (i.e. on the 'gap' which refused to decline and on the armed struggle growing in the colonies and ex-colonies: Algeria, Vietnam, Cuba, Angola, etc.). The attempt to make sense of the political economies of the ex-colonial countries produced several new beginnings to which, the differences accepted, the works of Myrdal, Prebish and Baran have been the milestones. The different 'father figures' of the onslaught against modernization theories have personified its diverse prongs. Myrdal and Prebish were senior advisers to the UN, originating from Sweden and a 'developing society' (Argentine) respectively, Baran was the Russian-educated and the only Marxist professor of economics in the US universities of the 1950s. The remedies suggested ranged accordingly: a call for an assumption of moral responsibility by the West from Myrdal (to be expressed in massive charitable aid), the demand for industrialization policies and for state control of foreign trade from Prebish, the demand for revolutionary reassertion of sovereignty followed by the restructuring of society from Baran. The modernization theory was dismissed by all of them as inadequate, over-optimistic and ideologically Western-centered.

Myrdal's notion of 'circular causation' and of 'cumulation of advantages and disadvantages' challenged the 'equilibrium' model of economic growth by identifying at least one of the resulting issues [45]. In a 'free market' economy, it is the accumulated investments that tend to produce further accumulation of investments; accumulated ability to produce determines the further increases in productivity; the better the educational facilities the better the conditions for the growth of new educational facilities, and so on. Conversely, shortage of capital, low productivity, limited access to educational facilities, and political feebleness and massive poverty, tend to 'accumulate' at the underprivileged pole of society, in a sequence of 'vicious circles'. There is no 'natural' flow towards equilibrium. The question is not why the 'gaps' do not close, it is rather, how could it happen that some countries of the globe (e.g. Japan) have 'caught-up' with the first-comers?

In Latin America the criticism of modernization theory was voiced by the structuralists school — a first reconceptualization of 'developing societies' in the UN era, coming from those societies themselves. At its centre stood the work of Prebish who challenged the neoclassical assumption of natural and mutual advantages of international trade by evidence of terms of trade consistently disadvantageous for the 'developing societies' [22; 52; 53]. Paul Baran's pioneering work reasserted the stress on broad aspects of political economy rather than on the 'free market' mechanisms of either equilibrium or inequality and cumulation. He proceeded from the view voiced already in the late 1920s by the 3rd International about the overwhelmingly regressive impact of imperialism on the economies of the colonial societies. Marxist paradigm and terminology were extended by Baran to the inter-state dependencies, suggesting ways the capitalist 'laws of motion' and the existing relations of power, interest and exploitation operate at the lower pole of the global society [7]. International patterns of exploitation would explain the 'blocked' development of the 'underdeveloped regions' (he used the comparison of the deficient economic growth of colonial India, as against the suc-

cesses of Japan which locked itself up against the Western impacts and the ‘open market’). The industries of the ‘developing societies’ are strangled as much by the cheaper mass-production of well-established industrial complexes as by the conscious policies of the major powers. Monopolistic controls purposefully drag down the prices of most of the products traditionally exported by the ‘developing societies’, securing uneven exchange to the advantage of those most powerful. Rule by parasitic and oppressive elites is conserved at the ‘underdeveloped’ pole of the world by the nature of the imperialist impact, which helps to keep those regions ‘underdeveloped’ [6]. It is the capitalist centre of the ‘advanced’ world with its accumulated and accumulating advantages and bullying power and its local agents-‘compradors’ that stand in the way of the ‘developing societies’. That is the rationale of a growing ‘gap’.

At the turn of the 1970s, after two decades of predominance of modernization theory, the dependency theory came for a time to dominate the field of ‘development studies’. In Anglo-Saxon literature it was most influentially expressed in a book of A.G. Frank published in 1967 [9; 20; 46; 57]. It was also most clearly challenged in the debate that followed it. The events of 1968 in Vietnam, the USA, Latin America, France, China and Czechoslovakia offered an immediate background of political crisis and anticipation of dramatic changes. The book presented a view of unequal international division of markets and labor, ‘siphoning away’ the wealth of Latin American ‘periphery’ and leading to stagnation there. It dismissed the earlier images of a (semi?) feudal society or else as a region littered with feudal ‘pockets of backwardness’, which slowly dissolve under the impact of capitalism and/or progress. The capitalist world market transformed it centuries ago into a part of the global capitalist economy. It also provided for the diverse dynamics of different areas on the globe leading to the necessary and deepening decline of countries where the majority of mankind’s poor lived. Frank summed up his pessimistic conclusions in the dramatic image of the ‘development of underdevelopment’ at the peripheries of capitalism.

For a short time, a new dual concept of *centre/periphery* took the place of the universal master-key of explanation, reserved before for the chief polarity of the modernization theory: the *backward/modern* division (and sequence). In what followed, much of the ‘dependency theory’ was rapidly trivialized or taken over. The concept of *centre/periphery*, used loosely, became merely another word for rich/poor with a critical undertone of voice added — a verbal substitute for analysis of complex reality. Even the genuinely critical and sophisticated versions of the dependency theory displayed serious limitations, gradually acknowledged by its authors. Theoretically, the difficulty lay with the ‘holist’ structural assumptions, an overkill of Baran’s line of reasoning and of the older theories of imperialism. World capitalism and/or the international market and/or the multinational companies (or, more general still, the ‘laws of accumulation of capital’) were treated as the sole determinants of history. The ‘peripheries’ and the human collectivities there became thereby by default mere ‘carriers’ or puppets of the characteristics of the international social matrix. Politically the only consequent choice became that of ‘either fascism or socialism’.

Evidence of complex diversification of the ‘developing societies’ and of rapid industrialization in some of them undercut these analyses. So has the evidence of political

struggles and dramatic shifts in policies. The fact that world market was used by Frank as a synonym for capitalism added to the theoretical argument [35]. Importantly, the ‘export substitution’ programs, when adopted, were not doing well either. New types of penetration and safer ways for the skimming of super-profits by the multinationals followed their application. Yet, on the other hand, the ‘gap’ did not disappear.

The 1980s has been one of further debate brought about by new evidence and of very limited theoretical advance, especially in so far as new integrated views were concerned. There have been signs of disintegration and disenchantment with the theoretical field *in toto*. The modernization approach was simply restated by a few of the ex-colonial civil servants or politicians and defended with new vigor and argument by some neo-orthodox Marxists who looked again at the ‘growth’ and doubted the ‘gap’ [25; 32; 36; 69]. Some interesting things were said from different perspectives about the ‘packages’ of modernizing characteristics, about cognitions, ecology and the socially destructive propensities of technological revolution so far as the Third World was concerned [8; 16; 30]. A number of attempts were made to use the concept of ‘mode of production’ as an alternative to the models of dependency [1]. Frank presented rectifications of his views, as did a number of major ‘dependency’ theorists, especially in the important reanalysis of F.H. Cardoso and others in Latin America [14].

On the ‘same side’ in terms of the broad divisions of views, the works of Samir Amin gained considerable support with many of the ‘Third World’ economists, of the ‘left’ as well as of the ‘right’ [2]. In 1974, E. Wallerstein commenced publication of a major study offering a global view of the origins of capitalist economy. While following the views of ‘dependency theorists’ in many major matters (inclusive of a strong ‘holist’ tendency [68. P. 92], and the equating of the spread of capitalism with that of the global market), Wallerstein gave new historical depth to the analysis offered. He put in focus of his historiography the forms of worldwide division and internationalized control of labor and the resulting diverse modes of its use. Relevantly to our case, he extended accordingly the earlier conceptual schemes suggesting a societal category ‘in between’ the capitalist ‘core’ and the ‘peripheries’ (and typified by the prevalence of share-cropping in agriculture and mining commencing ‘the long XVIth century’). It would include the old empires in decline, caught in the process of capitalist peripheralization. Tsarist Russia would be a prime example of this societal category, entering the global system somewhat later. More was done in terms of building up foundations by the social historians who traced the diverse roads of different states/social transformation (e.g. the comparison of Russian and Polish history by P. Anderson) [3].

All in all the debate of the 1970s and 1980s did not result in major conceptual breakthroughs. The fundamental approaches of the 1960s underwent further elaboration and revision under each other’s impact and in the light of the new evidence. A major division still lies between the views by which ‘developing societies’ are an essentially similar but backward version of ‘classical’ capitalism and those who see it as a different social form, venue and set of possibilities, in need of discrete theoretical structures. Unsatisfactory as this state of theoretical affairs is for lovers of ideological final solutions, the conceptual ‘fact’ of different approaches cannot be disposed of by a clever logical trick, an executive decision or by an empiricist computation. One must make

a choice, follow it up through concrete cases and consider the results. Our study accepts in this spirit the view that the ‘developing’ or ‘peripheral’ societies should be treated as a diverse form of social organization and looks at Russia in that light.

The adopted theoretical alternative is to advance further along the line of Baran’s initial insight, while attempting to meet and rectify its limitations. The more recent term and self-description of such a view (with such rectifications) as the theory of ‘dependent development’ will be used. It builds on major conceptual elements of the past debate like Sweezy’s comment about the plausibility of different capitalisms and Hobsbawm’s refusal to accept as self-evident the universality of the feudalism-to-capitalism road of transition [27. P. 171; 61]. It rejects holist analysis of ‘systems’ of the kind that assumes a single dynamic and logic of the ‘centre’ governing it and/or economic determinism of some type. It rejects as well the evolutionist solutions, by which societal forms are essentially different steps along the necessary capitalist road (into socialism, for those who are socialists). The ‘uneven’ and combined development of different societies would mean to that approach not only different speeds and ‘clocks’ but also different ‘roads’, each with its own consistencies, potentials and logic.

Also, a major message of the last generation was that of the growing disconnection between imperialism and colonialism. The Arab proverb that people resemble their times more than their fathers seems to hold true in this case. Colonial history, of some and not of others, does not falsify the generalizations offered when we talk of ‘dependent development’. Its decisive social characteristics are not defined by the colonial past, but by the international and intra-national present. The conceptual sense of the societal category discussed is based on the assumption of a specific type of social structure, social reproductions and patterns of social transformation. It goes without saying that this composite picture should be treated not as a shopping-list of unrelated items or a blueprint of an engine’s exclusive components. It is ‘a system’ of different and often contradictory tendencies and dynamics, related by a variety of ‘degrees of freedom’ and possible substitutions, to follow the mechanical metaphor.

The concept of ‘dependent development’ as recently used indicates a specific placement of the societies in question in the context of an international capitalist system [18]. Within the global hierarchies of institutionalized power, capital and science, the ‘developing societies’ are at the weaker pole, a weakness that if left to the forces of the ‘free market’ tends indeed to cumulate. This ‘placement’ opens those societies to domination and exploitation by powerful ‘partners’. At the same time the metaphor of ‘developing societies’ being the ‘global proletariat’, while not totally devoid of illumination, is badly biased, because ‘developing societies’ do not produce the bulk of goods consumed by the ‘metropolitan’ nations. Nor are they a homogeneous ‘camp’, homogeneously rural or homogeneously poor.

The internal economic context of the countries of dependent development is characterized by extensive ‘disarticulations’. Strategic elements of it operate within the international networks controlled mostly by the multinational companies. Enclaves of foreign-produced and controlled modern technology coincide with archaic techniques of production, and mass underemployment. A fundamental frontier of economic ‘dis-

articulation' usually lies between the massively peasant smallholder agriculture plus the peasant-in-town groups plus extensive 'informal economies' and the 'modern' industries and finance. At the core of the political and economic power-structures stands a state machinery that is variously described as 'over-grown', 'strong' and/or 'state capitalist'. Those expressions try to present and to explain a bureaucratic system that monopolizes not only administrative control and the powers of repression but also the direct assignment of social privileges, the powers of the largest employer, the direct control of major parts of production, and/or foreign trade, of the mass media, etc. Extraordinarily high rates of exploitation correspond in the 'developing societies' with the spread of repressive regimes, breakdown of consensus, often military dictatorships involving semi-official 'torture squads' as a day-to-day system of governing.

The effective control of the industry and finance of the 'developing societies' lies in the hands of a 'triple alliance' of international capital, state 'technocrats' and the local bourgeoisie (linked at times with large landlords). Up to a point the state apparatus acts as a 'gate keeper' for foreign capitalism, serving it but also attempting to control it. The working compromise of those forces, with the first two supreme and the third correspondingly servile (but far from powerless), define the day-to-day running of a dependent economy. It means constant shifts and confrontations by capital in search of quick profits whereby often the state enterprises act as the only effective instrument of long-term investments and capital accumulation. It means also that systematic exclusion of the plebeian masses from any economic gains of 'dependent development', forms part of the process of 'economic growth', with increasing social polarization and tensions to follow. (A consequent transfer by the multinationals of a labor-intensive production process to countries of a cheap and repressed labor force was a major determinant of the recent wave of industrialization within some 'developing societies'.) Specific class structure, ethnic divisions, political characteristics and ideological currents are generated by such a setting. The mass of manual laborers and of the often destitute 'lumpen bourgeoisie' of go-betweens together with the major parts of the local bourgeoisie are mostly devoid of impact upon the actual political life, despite the parliamentary procedures usually being kept as a legitimating device. To that extent, the rhetoric term 'popular masses' is realistic as the antonym of the governing elite and may explain the nature of revolutionary eruptions and the ideologies of protest that cross-cut class boundaries of any description.

'Dependent development' is a process of social reproduction of extensive and extending inequality on both as international and local scale. The consistency of the international 'gap' is the expression of its fundamental 'laws of motion' while many more localized 'gaps' and disarticulations follow similar patterns. So do the patterns of repression, the typical cognitions of social reality and the ideologies of its change.

Since 1917, Russia has been treated as the country in which the socialist experiment commenced, for good or evil. It has facilitated some teleological explanations of Russian history (by which all which happened had to happen), and at the other pole, claims that all is accident, perplexity or bad luck. Looking back did offer some useful analytical insights into Russia's revolutionary transformation and the socialist attempts elsewhere and since. What remained less clear is the extent to which the debate about the nature

of ‘developing societies’ throws light on the history of Russia/USSR. Societies and economic conditions never exactly repeat themselves, but identity is not a condition for comparative analysis. During the period we are talking about, Russia was a country with a massive peasant population, a per capita annual income of less than 100 dollars, a major presence of foreign capital and a government pursuing industrialization policies in a world increasingly dominated by ‘the West’, i.e. the main capitalist industrial societies.

At the turn of the XXth century, Russia was a ‘developing society’, arguably the first of its kind. This generalization denies neither the development of the ‘classical’ capitalism in it nor the uniqueness of its history. These notwithstanding, the major characteristics of what a few generations later came to be called ‘dependent development’, were increasingly evident in Russia. The international context and the grip of foreign capital were already referred to and were recognized in the extra attention given then in Russia to the problems of the types of ‘development’, the ‘gap’, and economic ‘growth’, as well as of capital accumulation, sovereignty and foreign finance. Evans’s concept of the ‘triple alliance’ of capitals ruling industry — the foreign, the state and the local — was pertinent, as was the parallel tendency of state planners to equate industry with modernity and Westernization. Severe strains of economic and social disarticulations and steep class divisions were evident. Major enterprises, especially mining, often linked into international economic circuits with little relation to the economy within which the bulk of the Russians lived. Heavy under-employment on a national scale went hand in hand with a shortage of skilled and ‘reliable’ labor. The largest factories of Europe, manned extensively by part-peasants, coincided with and were linked to pre-mechanical crafts and thousand-year-old farming methods. The advance of industry, urbanization and literacy were paralleled by a widening gulf between the social ‘top’ and the rural and city poor. The level of exploitation of the producers was high, manifest and brutal, and so was the overall extent of state control and the repressions evoked by any ‘disobedience’ or even unauthorized initiative from the philanthropists. Political dissent was building up, expressed in the bottled-up resentment of the plebeian classes as much as in the ideologically and ethically expressed challenges of the intelligentsia.

Russia’s immediate opportunities for rapid economic development and transformation, activated in the spells of industrial growth during 1892—1899 and 1909—1913, were on the whole better than those in the mainstream ‘developing societies’ later. The powerful and highly centralized Russian state was able to mobilize considerable resources and, to an extent, check foreign political and economic pressures. The rise in world prices of foodstuffs, in particular, of grain, ensured a consistently positive balance of payments and helped towards the national ‘capital formation’. The sheer size of the country has often been cited as a major advantage for rapid economic advance. The size of the population as a potential consumers’ market, the extensive territory and mineral riches would by that view facilitate ‘economic growth’. Russia’s Asiatic sector could play the role of an amalgam of British India and the American Wild West, i.e. of an exploited minerals and cotton producing colony and of an ‘open frontier’.

Yet the chances for these favorable i.e. ‘growth’-facilitating economic conditions to persist were anything but good. To return to Timasheff’s ‘mental experiment’ but to make it somewhat more specific, 67% of the value of exports was agricultural primary produce as late as 1913 and nearly all of the rest were the products of mining [11. P. 13—16]. It was the increase in foodstuff prices in the early XXth century that secured the overall export figures. Once the First World War was over, the terms of trade were to become increasingly unfavorable to primary products and specifically to foodstuffs [5. P. 72—79; 72. P. 38—45]. Moreover, “except under specific conditions, the long term movement of the terms of trade between industrial and agricultural products will be against agricultural products” [5. P. 79]. The basic determinant of Russia’s positive balance of payments and a ‘booster’ of its internal market was on the point of an extended downward turn.

The second source of the ‘positive balance of payments’, of the capital investment and economic development, was external. It was assumed by many that without the influx of foreign capital, the spectacular development of Russian industry would be altogether impossible. Estimated foreign investments during the period 1898—1913 were 4225 million Rubles, of which about 2000 million Rubles were comprised of state loans. The hold of foreign capital was growing. In particular, while during 1881—1913 about 3000 million Rubles were taken out of Russia in foreign profits much was reinvested. By 1914, the holding of foreign capital was 8000 million Rubles. This included foreign ownership of up to two-thirds of Russia’s private banking and extensive foreign ownership of mines and of large private manufacturing enterprises [19; 34; 42]. “By 1914, Russia had gone a good part of the way toward becoming a semi-colonial possession of European capital” [44. P. 269] Already by 1916 the cost of the war had more than doubled foreign debts; it had also increased further Russia’s technological dependency on its Western allies. Even ‘undisturbed’, to use Timasheff’s term, Russia would have faced in the post-First World War period a massive and increasing crisis of foreign payments and of further loans just to pay off the old ones, together with the dividends and the payments for foreign expertise and imports. We know such scenarios well from Latin America, Africa and Asia (Brazil, Nigeria, Indonesia).

Even the magnitude of Russia could not be viewed solely as a blessing. The empire had been created by conquest and lived by suppression of the national identity of the majority of population in which ethnic Russians accounted for less than half. Repression could keep the country together, but to see the tsardom perpetuating ‘undisturbed’ into the future, despite its ethnic heterogeneity and inequalities, was unrealistic. Even the hope that the land mass of Russia would solve the problem of its ‘surplus population’ was false. Despite high mortality rates, the percentage of annual population growth in Russia had doubled during 1880—1910 [55. P. 98]. The absorption capacity of Asiatic Russia was limited. The actual land per capita rates in European Russia were rapidly decreasing. A ‘population explosion’ was beginning to build up, with consequences familiar from the ‘developing societies’ of today. The cities absorbed only about one-quarter or one-third of the rural growth. Without it changing or without ‘Malthusian corrective’ (i.e. war, famine and plague) or else without a labor-absorbing agricultural breakthrough the rural ‘surplus population’ could not but proceed to grow.

By the turn of the century, the awareness of these crises was growing among ‘the educated’ of Russia. The resulting debate was not unlike that of the 1950s and 1960s in UN research units such as Prebish’s ECLA or between Baran’s friends, the Marxist economists centred around the *Monthly Review* of New York. There was a major difference of the date under consideration, however. It supported for tsarist Russia neither an iron law of deterioration nor a self-evident extrapolation of the economic boom of 1909—1913, that is, in the language of our generation, neither a version of dependency theory nor a modernization scenario. To say that the socio-economic development of Russia was then a race against time, with the result still in the balance, is neither a rhetorical turn of phrase nor an eclectic refusal to ‘stick one’s neck out’ by offering a firm answer. Figures show that during the period in question, Russia was neither catching up, nor was it clearly falling behind Western competitors. Between 1861 and 1913, the estimated growth rates of Russia’s national income per capita were close to those of the European averages, but half the figure for Germany. Russia was doing better than the cross-national averages of the countries outside Europe, but the growth of its national income was considerably lower than in the USA and Japan [24. P. 474—475; 54].

A further worsening of Russia’s chances in that race was anticipated which made the time factor crucial. In such contexts what counts particularly is not only the matrix of causes, trends and objective *determinants*, but conscious conflicts and state policies, i.e. the active seeking of alternatives by those in power, the forces they could command, the challenges presented and the way they were understood and met. The Russians increasingly came to view the future in terms of the ability of the tsardom to outweigh the effects of cumulative backwardness and global inequality, in terms of a revolution that would radically change the character of Russia, removing the tsardom altogether. To those in the government in whose view ‘modernization’ was necessary while a revolution was out of the question, the future mostly presented an alternative of a German-style rapid economic advance to join the dominant industrial societies or a cumulative political and economic decline to the status of ‘another China’, a society of poverty and internal contradictions, an easy prey to powerful foreign imperialists. *Ex post factum* such a designation of choices is inadequate, but far from spurious. It offers a division in the terms within which major aspects of Russian history can be considered.

Significantly for such comparisons, Russia entered the new century at a time when models of what has come to be referred to as ‘classical’ capitalism, (i.e. the generalized model of England of 1780—1870) were becoming less relevant to the actual capitalist societies. A few intellectual forerunners excepted, the theory was clearly lagging behind, for it took a century for the social analysts to catch up in earnest with the fact of the non-repetition of the social characteristics of the British ‘industrial revolution’ [15; 40]. It took much less time than that for the practitioners of politics and economics to grasp this point. The first inkling of a new pragmatic understanding of these matters appeared within the governing elites of Germany, Japan and Russia. By that time, between the lucky first-comers (societies that benefited from the early development of a mercantile, industrial and colonial capitalism) and between the ‘other’ (often colonized) people, a third intermediate group could be distinguished. It consisted of those countries that

reached the thresholds of massive industrialization somewhat later than the first-comers, but without having their economies distorted by recent foreign conquest and/or colonialism. The USA headed this list, but was manifestly exceptional owing to particularly favorable conditions. Outside its southern regions of slave-and-cotton economy, it lacked entrenched pre-capitalist classes, structures and traditions. It was far enough away to eschew Europe's political tensions, and yet close enough to benefit from its markets, labor and experience. Its 'growth' was well served by the farming of the independent smallholders in the 'empty territories' (i.e. lands sparsely populated by peoples who could be defeated, locked up in 'reservations' or exterminated). The same held for the weakening of the British, French and German global grip when they dueled for world rule in 1914—1918.

The core of the 'third group' consisted of the triad of Germany, Japan and Russia, the last usually at the bottom of the list in terms of its socioeconomic and political indexes. In spite of many differences with regard to their conditions and history, these countries showed marked similarities of government policies and guiding ideologies. At their centre was an attempt to escape what would be called today 'dependency' and 'cumulation of disadvantages', by a powerful intervention of the state, aimed to assure rapid industrialization. In the words of Witte, 'only those economically independent are able fully to exercise their political might ...China, India, Turkey, Persia and Latin America are politically feeble in direct proportion to their economic dependence on foreign industry'. Consequent on that experience, 'in our times the political might of the great states called upon to play a role in history is based not only on the spirit of its people but in their economic system. ...The international rivalry would not wait'. This view assumes a powerful, autocratic and aggressive government effectively opposing external pressures while suppressing any 'internal political obstacles', be it socialist agitation, demands of ethnic 'minorities' or even reactionary impulses within the landed 'ruling class'. The aim was to advance 'by hook or by crook', modernizing the army, promoting capital accumulation, facilitating industrialization, relegating agriculture to a secondary place within the national economy [10. P. 215; 70. P. 133].

For three decades, the Russian government doggedly followed 'the German path'. Bunge, Vishnegradskii, Witte, Kokovtsev — a succession of finance ministers-professed policies of directed economic development and energetic government intervention, within which the all-out support for home industry was central. Government policies facilitated high profit margins for the industrialists, low wages, and the squeezing of peasant economy for the sake of urban capital formation. Yet, whatever the effort, the model or the pretence, Russia's advance was still no match for that of Germany. It was on the battlefield and in the confrontations of international politics and finance that the fact of the matter was first manifested. From a first-class world power in the first half of the XIXth century, the Russian state has deteriorated, by the turn of the century, into a second-class force. The Crimean War of 1854—1855 was followed by the diplomatic defeat by the 'European powers' at the Berlin conference in 1878, the military defeat by Japan in 1904 and retreat before Austrian pressure in 1908. All these rebuffs signaled and contributed to this growing international weakness.

Simultaneously, the severity of the economic crisis at the turn of the century showed how shaky the economic growth of Russia was. Social and ethnic contradictions and revolutionary pressures added to the internal weakness. Given the build-up of political and economic crises and the increasingly doubtful ability of the tsardom to dominate the international and local scene and to mobilize resources, Witte's political design and the later prediction-by-extrapolation by Timasheff of a development able to make Russia into another Germany were anything but prudent. This is the point where the significance of the other horn of the dilemma of 'either Germany or China' comes into its own. The China of the day was to the contemporaries a synonym of declining ancient glory, but mostly a chief example of a victim of foreign political and economic predators. 'Vicious circles' of popular impoverishment, the population outrunning resources and a growing 'compradore' stratum of the economic agents of Western companies were reported from there. The less the Russian similarity to Germany, the more realistic the comparisons to China as seen by the educated Russians of those times. Russia was the first country in which the syndrome of such conditions and problems appeared within the context of political independence of long standing, of a successful competition in the past with the more 'modern' Western neighbors and a country possessing a numerous intellectual elite, trained in advanced European scholarship and deeply involved in social analysis and in radical political action. That is why Russia was also to become the first 'developing society' to begin and recognize itself as such.

The new understanding manifested itself in political strategies and decisions rather than in academic treatises. While theory stumbled behind, the actual leaders of Russia recognized that the theory drawn from 'classical' capitalism, even when superficially adjusted, was insufficient for the type of society Russia was and/or was becoming. The self-understanding and the corresponding state strategies of 'classical capitalism' were first substantially amended in a 'Bismarckian way', theorized by F. List and accepted by the 'middle group' of capitalist developers. List challenged the fundamental assumption of the British political economy concerning mutual advantages of free trade [40]. He believed that a transitional period of 'protectionism' must secure the 'maturing' of the German industry before it would be able to compete 'freely' with Great Britain. He defended state intervention in markets and finance, that is, the policies that came to be expressed eventually in the German Custom Union, a major step towards the country's unification under the leadership of Prussia. Russia's practicing economist increasingly adopted the perspective offered by List. Witte had List's book personally translated and ordered his officials and aids to study it. Yet, transferred to Russia, the Listian policies failed to produce German-like results. The consequent crisis, rebellion and the dismay that culminated during the 1905—1907 revolution, was reflected in a new parcel of strategies of social transformation. These are crucial to the understanding of the 'developing societies' of today and, in turn, understandable only in the light of their experience.

It was in Russia that a 'second amendment' of the initial theories of 'classical' capitalism took shape, offering a theoretical expression and a testing ground for a new type

of ‘revolution from above’ — the ‘Stolypin Reforms’ of 1906—1914. Russia’s revolutionary epoch was linked into, overlaid with and productive of major conceptual revolution. Its first message of originality was that the spontaneity that underlaid the British case of industrialization indeed could not work similarly for the newcomers. Only the fundamental restructuring of the whole social fabric could lay foundations for the List-like policies and the Western-style industrialization to follow in a Russia-like society. A ‘revolution from above’ had to remove obstacles before capitalism could succeed. Stolypin’s ‘revolution from above’ was rapidly followed by its fundamental alternative — the first ‘revolution from below’ typical of ‘developing societies’ and effectively executed and theorized following the lessons of revolutionary experience of 1905—1907 enhanced in 1917—1921.

That is why it is not accidental that while numerous ‘Western’ intellectual fashions come and go, the analytical tenets of Russian experience and scholarship of those times are remarkably fresh when issues of ‘economic growth’ and of the underprivileged component of mankind in the ‘developing societies’ are addressed, be it peasants, the ‘state apparatus’ or the intelligentsia, classes, elites or revolutionary cadres, agrarian reform, capital accumulation or ‘hidden unemployment’. That is also why Witte and Lenin, as well as Stolypin and Stalin, so often sound as if they were directly addressing politicians and militants on different sides of the ideological barriers in ‘developing societies’. To a considerable degree, they exhausted the range of alternative strategies available up to now).

To recapitulate, specific characteristics of Russia as a ‘developing society’ made it differ significantly in social structure from other catching-up members of the industrializing societies (i.e. the USA, Germany and Japan) and to parallel a different category of societal development. That is not what major Western historians of Russia usually assume: “quantitatively, the differences were formidable ...but ...the basic elements of a backward economy were on the whole the same in Russia of the 1890s as in Germany of the 1830s” [23. P. 18, 27]. The writings of von Laue carried the unilinear assumption still further by externalizing fully the sources of change. To him a ‘cultural slope’ continued inside Russia the ‘gradient issuing from Western Europe’. What was taking place in Russia was a “vast revolution from without”, that is, an ‘expansion of Europe’ in which ‘there is no blending of old and new [i.e. ‘Western’] ...the old was being ruthlessly subverted” [66. P. 199, 438, 422].

Despite the dissimilarity of the sources quoted, the authorities and the terminology used, Soviet scholars faced similar dilemmas and conducted similar debates. The arguments about foreign capital and its impact, the actual extent of Russian economic advance before the revolution, the ‘feudal remnants’ in it, etc., were used as a vehicle for it. A major field in which the issue was explicated was that of agrarian history, which explains its significance for the general debate and in academic confrontations of past, present and, doubtlessly, future. Nobody has as yet used directly a ‘developing societies’ model for an alternative explanation challenging the unilinear view, but the accentuation of specificity of the social transformation in the Russian countryside, of ‘semi-feudalism’

and of the peculiarities of ‘the imperialist epoch’ have often carried a similar message. Lenin’s favorite abuse of *aziatchina* (Asianness), when talking of Russia, was never properly explored for insight, but used time and time again in the Soviet debate to stress the specificity of Russian capitalism, its ‘semi’, not-quite-capitalist and not-quite-Western nature. Fundamental differences and arguments were often hidden behind quantitative designation, that is, capitalism was very strongly ‘semi’ to some, less ‘semi’ to others and not ‘semi’ at all to those whom already Marx called ‘the Russian admirers of the capitalist system’ (i.e. Russia’s consistent evolutionists) [58. P. 100].

The shadow of the fundamental debate between Soviet historians entered also via the consideration of what the ‘imperialist epoch of capitalism’ meant where Russia was concerned. The 1968 multi-volume of USSR history and attempts to explore new frontiers offered a middle position. It began by proclaiming as the new general insight of scholarship at the turn of the century ‘deviations in the development of capitalism ...from the *usual* norms of the capitalism of free competition’ [31. P. 8]. That insight was said to be crystallized and advanced by Lenin’s new theory of imperialism ‘as the last stage of capitalism’ and ‘military feudal imperialism’ represented by the tsarist state. This social formation was said to be ruled by a corresponding class coalition — the political alliance between the squires and the top layer of imperialist bourgeoisie which was constructed in the weak post-1906 parliament — the *Duma*. A tendency of financial capital to conserve rather than destroy the ‘early capitalist modes of production’, and the repressive nature of the tsarist policies at the ethnic peripheries, were also pointed out. The nature of the 1905—1907 revolution was defined as a treble conflict and dynamic: proletarian, peasant and ethnic. The model caught well the complexity of the Russian social and political confrontations, but failed to account for some major characteristics representing a new road, a typical/specific pattern of societal transformation. It also bypassed some political forces of major significance.

The difficulties of the general problems reviewed are clearly not of the type that can be resolved by simply piling up data, archival documents or figures. The significance and necessity of close scrutiny of evidence is not in question, but it is rather the conceptualization of it that is opaque. When scholars stumble over words or hide behind them, the way forward, however tiresome, is to proceed with dissecting terms for their analytical meaning.

REFERENCES

- [1] Alavi H., Shanin T. *Introduction to the Sociology of ‘Developing Societies’*. L., 1982.
- [2] Amin S. *Accummulation on a World Scale*. N.Y., 1974.
- [3] Anderson P. *The Origins of an Absolutist State*. L., 1978.
- [4] Arrighi G. *The Geometry of Imperialism*. L., 1978.
- [5] Atallah M. *The Long-Term Movement of the Terms of Trade between Agricultural and Industrial Products*. Rotterdam, 1958.
- [6] Baran P. On Political Economy of Backwardness. R. Rhodes. *Imperialism and Underdevelopment*. N.Y., 1970.
- [7] Baran P. *The Political Economy of Growth*. N.Y., 1962.

- [8] Berger P. *Pyramids of Sacrifice*. Harmondsworth, 1979.
- [9] Bernstein H. *Underdevelopment and Development*. Harmondsworth, 1973.
- [10] Black C.E. *The Transformation of Russian Society*. Cambridge, 1960.
- [11] Bol'shakov A., Rozhkov N. *Istoriya khozyaistva Rossii*. Moscow, 1926. Vol. III.
- [12] Bottomore T.B. *Elites and Society*. L., 1964.
- [13] Bukharin N. *Imperialism*, 1915.
- [14] Cardoso F.H. *Dependency Revisited*. Austin, 1973.
- [15] Clairmonte F.F. *Economic Liberalism and Underdevelopment*. L., 1960.
- [16] Coldwell M. *The Wealth of Some Nations*. L., 1979.
- [17] Eisenstadt S. *Modernisation: Protest and Change*. Englewood Cliffs, 1966.
- [18] Evans P. *Dependent Development: The Alliance of Multi-National, State and Local Capitals in Brazil*. Princeton, 1979.
- [19] Eventov L. *Inostrannye kapitally v russkoi promyshlennosti*. Moscow, 1931.
- [20] Frank A.G. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. N.Y., 1967.
- [21] Frank A.G. The post-war boom: Boom for the West, bust for the South. *Journal of International Studies*. 1978;7(2).
- [22] Furtado C. *Development and Underdevelopment*. Berkeley, 1967.
- [23] Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. B. Heselitz. *The Progress of Underdeveloped Area*. Chicago, 1953.
- [24] Goldsmith R.W. The Economic Growth of Tsarist Russia 1860—1913. *Economic Development and Cultural Change*. 1961;9.
- [25] Golthorpe J.E. *The Sociology of the Third World*. Cambridge, 1975.
- [26] Hilferding R. *Finanz Kapital*. Vienna, 1910.
- [27] Hobsbawm E. From Feudalism to Capitalism. R. Hilton. *The Transition from Feudalism to Capitalism*. L., 1976.
- [28] Hobson J.A. *Imperialism: A Study*. L., 1908.
- [29] Hoogvelt A. *The Third World in Global Development*. L., 1982.
- [30] Ilich I. *Tools of Conviviality*. L., 1973.
- [31] *Istoriya SSSR*. Moscow, 1968. Vol. VI.
- [32] Kay G. *Development and Underdevelopment: A Marxist Analysis*. L., 1975.
- [33] Kemp T. *Theories of Imperialism*. L., 1967.
- [34] Khromov P.A. *Ocherki ekonomicheskogo razvitja Rossii*. Moscow, 1967.
- [35] Laclau E. Feudalism and Capitalism in Latin America. *New Left Review*. 1971; 67.
- [36] Lee C.G. An Assimilating Imperialism. *Journal of Contemporary Asia*. 1972;2(4).
- [37] Lenin V.I. Imperializm kak vysshaya forma kapitalisma. PSS, 1917. Vol. 27.
- [38] Lerner D. *The Passing of Traditional Society*. Cambridge, 1963.
- [39] Leys C. Underdevelopment and Dependency. *Journal of Contemporary Asia*. 1977;7(1);
- [40] List F. *The National System of Political Economy*. L., 1909.
- [41] Luxemburg R. *The Accumulation of Capital*, 1913.
- [42] Lyashchenko P.I. *Istoriya narodnogo khozyaistva Rossii*. Moscow, 1952. Vol. II.
- [43] Magdoff H. *Imperialism: From Colonial Age to the Present*. N.Y., 1978.
- [44] Mirsky D. *Russia, A Social History*. L., 1952.
- [45] Myrdal G. *The Economic Theory and Underdeveloped Regions*. L., 1967.
- [46] Oxaal I., Barnett T., Booth D. *Beyond the Sociology of Development*. L., 1975.
- [47] Palma G. Depedency. *World Development*. 1978;6.
- [48] Pareto V. *The Mind and Society*. L., 1935.
- [49] Parsons T. *The Evolution of Societies*. Englewood Cliffs, 1977.
- [50] Plekhanov G. *Nashi raznoglasiya*. Geneva, 1885.

- [51] Pollard S. *The Idea of Progress*. N.Y., 1968.
- [52] Prebish R. The System and the Social Structure in Latin America. I. Horovits et al. *Latin American Radicalism*. N.Y., 1967.
- [53] Prebish R. *Toward a New Trade Policy of Development*. N.Y., 1964.
- [54] Prokopovich S. *Opyt ischisleniya narodnogo doklada*. Moscow, 1918.
- [55] Rashin A. *Naselenie Rossii za sto let*. Moscow, 1956.
- [56] Rostow W.W. *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto*. Cambridge, 1960.
- [57] Roxborough I. *Theories of Underdevelopment*. L., 1979.
- [58] Shanin T. *Late Marx and the Russian Road*. L., 1983.
- [59] Smelser N. *Social Change in Industrial Revolution*. L., 1972.
- [60] Stalin I. *Voprosy leninizma*. Moscow, 1947.
- [61] Sweezy P. *Four Lectures on Marxism*. N.Y., 1982.
- [62] Timasheff N. *The Great Retreat*. N.Y., 1946.
- [63] Timasheff N. The Russian Revolution. *The Review of Politics*. 1943;4.
- [64] Trapeznikov S.P. *Agrarnyi vopros i leninskie agrarnye programmy v trekh russkikh revolyutsiyakh*. M., 1967. Vol. I.
- [65] Tremml V. *The Development of the Soviet Economy: Plan and Performance*. N.Y., 1968.
- [66] von Laue T. Imperial Russia at the Turn of Century. R. Bendix. *State and Society*. Berkeley, 1973.
- [67] Walicki A. *The Controversy Over Capitalism*. Oxford, 1969.
- [68] Wallerstein I. *The Modern World System*. N.Y., 1974.
- [69] Warren W. *Imperialism: Pioneer of Capitalism*. L., 1980.
- [70] Witte S. 'O polozhenii nashei promyshlennosti'. *Istorik Marxist*. 1935;2—3.
- [71] *World Development Report*. N.Y., 1980.
- [72] Yates L. *Forty Years of Foreign Trade*. L., 1959.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-19-37

ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИЛИ МОРФОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ «ОТСТАЛОСТИ» (часть 1)*

Т. Шанин

Университет Манчестера,
Оксфорд Роуд, Манчестер, M13 9PL, Великобритания
(e-mail: shanin@universitas.ru)

Данной статьей мы начинаем серию публикаций, посвященных теоретическим аспектам концепции Теодора Шанина, впервые опубликованной в 1986 году в книге «Россия как развивающееся общество. Истоки инаковости: Россия в начале XX века. Т. 1». В следующем номере журнала мы опубликуем вторую часть пятой главы из этой книги, а также и реферативный перевод всей пятой главы данной работы, чей русский перевод в настоящее время впервые готовится к изданию в знаменательный год столетия Октябрьской революции (вторая часть двухтомника «Революция как момент истины. Россия 1905—1907, 1917—1922 гг.» вышла на русском языке в 1997 год в издательстве «Весь мир»). В статье обозначены ключевые концептуальные подходы к трактовке сути социально-экономического развития в глобальных масштабах и широкой исторической перспективе. Так, разно-

* © Шанин Т., 2016.

образные теории конвергенции предполагают, что какой бы ни была риторика или жестокость российского социалистического эксперимента, фактически это был гигантский по масштабам опыт «запоздалой индустриализации» и рывок к сокращению «разрыва» между Западной Европой или США и остальным миром. Теории модернизации разделяют мир на три области — Первый мир, Второй и Третий — и утверждают, что со временем Второй мир должен превратиться в Первый, а Третий пройти более долгий путь. Однако более важным автор считает четкое определение, что же именно подразумевается, когда общества называются «развивающимися», «отсталыми», «неразвиваемыми», «становящимися» и пр. По сути, возможны два пути для этого, исходя из структурных характеристик социальных систем: первый подход трактует «развивающиеся общества» как отстающие и продвигающиеся к современности нужной поступью социального и экономического прогресса, однако в силу ряда причин все еще не достигшие своей цели или же идущие к «нужной точке» слишком медленно; второй подход допускает разные стартовые позиции и варианты «развития», и «развивающиеся общества» — одна из множества траекторий. В статье показаны возможности и ограничения разных теоретических перспектив, в частности, применительно к российской интеллектуальной и социально-экономической истории.

Ключевые слова: развивающееся общество; историческое развитие; отсталость; инаковость; теория конвергенции; теория модернизации; «разрыв»; три мира

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-38-50

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ П. БУРДЬЕ*

А.В. Ситников

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 84, Москва, 119571, Россия
(e-mail: av.sitnikov@migsu.ranepa.ru)

В статье рассматриваются методы изучения религии, используемые П. Бурдьё. Проводится анализ основных понятий, выявляются те области религии и те религиозные традиции, к которым данная концепция может быть применена. Автор показывает, что разработанные Бурдьё методы изучения религии, несмотря на имеющиеся недостатки и ограничения, плодотворно применяются современными исследователями. Его теория стала отправной точкой для некоторых новых подходов, в частности, для изучения ритуальных практик. Оказалось достаточно перспективным понятие религиозного габитуса, которое позволяет проанализировать механизмы того, как религия формирует у своих приверженцев определенные практики, условности, образ жизни, смыслы и ценности, соответствующие доктрине и религиозному опыту. Представителям одной конфессии присущи не только нормы и ритуалы, но сходный вкус и стиль, а также специфическое восприятие религиозных лидеров. В габитусе воплощена традиция и история конфессии, он является средством закрепления практик и их трансляции следующим поколениям. В то же время концепция религии Бурдьё имеет уязвимые стороны. Его теоретическая модель религии слишком зависит от «французского контекста» и описывает преимущественно католическую церковь. Его инструментарий настроен на анализ отношений между государством и господствующей церковью, имеющей иерархическую структуру. К недостаткам метода следует отнести и то, что Бурдьё приписывал религиозной деятельности экономическую логику спроса и предложения. Религия рассматривается им как область, предназначенная исключительно для узаконивания и воспроизводства неравноправных и несправедливых социальных порядков. Бурдьё полагал, что церковь всегда связана с механизмами установления господства в социальном мире, с осуществлением власти, с освящением привилегий господствующих классов. Модель Бурдьё приписывает церкви заслуги в поддержании социального порядка и легитимности власти. При этом Бурдьё наделяет производителей религиозного капитала слишком большой властью и возможностями, которых они в действительности не имеют. Религия в такой концепции выступает инструментом борьбы за власть и оказывается ответственной за изъяны и несправедливости общества. Многие существенные стороны религиозной сферы в такой модели оказываются упущены.

Ключевые слова: Бурдьё; религия; власть; поле; капитал; габитус; социология религии; социальная теория

Пьер Бурдьё в 1970—1980-х гг. написал десятки книг. Некоторые из них уже стали «классикой». Они переведены на многие языки. В 1990-х он являлся одним из самых влиятельных социальных теоретиков. Разработанные им концепции и введенные термины и сегодня используются для анализа самых разных

* © Ситников А.В., 2016.

сфер общественной жизни, от них отталкиваются современные ученые при создании своих концепций. Самый заметный вклад П. Бурдьё внес в анализ тем социального неравенства, власти, образования и культуры.

Труды Бурдьё написаны весьма сложным языком. На страницах своих работ он творчески синтезирует идеи различных мыслителей, подходя ко всем авторам критически. Часто он берет у того или иного мыслителя только те идеи, которые ему нужны для решения собственных задач. Бурдьё выступал «духовным наследником» К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, М. Мосса, Ж.-П. Сартра, К. Леви-Стросса, Л. Альтюссера, А. Шюца, М. Мерло-Понти и др. Созданный Бурдьё метод (его называют «конструктивистский структурализм», или «генеративный структурализм», или «структуралистский конструктивизм») представляет собой синтез не только нескольких социальных учений, но и разных дисциплин, в частности, антропологии, социологии, политических наук, философии.

Теория Бурдьё и в те годы, когда она создавалась, и сегодня вызывает критику, активное неприятие и бурный протест многих исследователей. Давно замечены «ангажированность» ее автора и многочисленные слабости и недостатки его метода. Набор аналитических инструментов, предложенный Бурдьё, многими современными учеными оценивается как негибкий и не свободный от структурализма. Порой утверждается, что в нем нет места для человеческого действия и свободы [14. С. 18]. Концепция религии не является главной темой для Бурдьё и не занимает основного места в его теории, но тем не менее она раскрывает существенные стороны его учения об обществе, и многие его понятия выросли из анализа религии [18. Р. 529].

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ БУРДЬЁ НА РЕЛИГИЮ

Пьер Бурдьё (1930—2002) родился в семье сельского почтового служащего в небольшой деревне на юго-западе Франции недалеко от границы с Испанией. Эта местность расположена далеко от каких-либо «центров цивилизации» и считается глухой провинцией. Ее жители говорили на одном из гасконских диалектов. С происхождением из невысоких социальных слоев исследователи часто связывают присущие Бурдьё левые ценности и левую политическую позицию, а также его интерес к марксизму и теме социального неравенства. В его родном регионе преобладала католическая церковь. Она традиционно имела здесь заметное влияние. В сорока милях от деревни находилось одно из наиболее важных мест паломничества католиков всей Европы — Лурд. Сюда ежегодно приезжали тысячи верующих поклониться местам явления Девы Марии. Здесь происходили чудеса и исцеления. Бурдьё, конечно, был осведомлен об этих религиозных событиях.

Когда в дальнейшем он писал о религии, то имел в виду прежде всего католичество. В книгах его отражается то влияние, которое имела католическая церковь на французское общество [21. Р. 231].

Труды Бурдьё созданы в контексте истории борьбы французского католицизма за религиозную монополию. Его теоретическая модель религии мало пригодна для анализа тенденций светского общества двадцатого века, где утвердился рели-

гиозный плюрализм и свободный «рынок» религий, особенно это касается Северной Америки [20. Р. 126]. Инструментарий Бурдьё настроен для анализа отношений между религией и государством в ситуации, когда имеется только один «поставщик» религиозного смысла и легитимных ритуалов, только одно учреждение считается приближающим к Богу. Лучше всего такой ситуации отвечает средневековое общество с господствующей католической церковью или страна, где католицизм имеет статус государственной религии.

Еще одной особенностью теории Бурдьё является то, что она не очень подходит для анализа протестантизма, иудаизма и ислама. В этих религиях менее формализован контраст между профессиональными священнослужителями и мирянами. Модель Бурдьё предполагает, что религия имеет иерархическую форму, а религиозные специалисты выступают как единственные «производители» религиозного капитала и мировоззрения, полностью руководят рядовыми верующими. Так действительно было в некоторой части истории Западной Европы, связанной с католицизмом.

Бурдьё не допускал, что миряне способны к какому-либо коллективному продуцированию религиозных идей и практик. Рядовые верующие у него являются простыми «потребителями» этих «товаров». Однако это не всегда так. Бурдьё не заметил, что люди нередко достаточно активно строят смыслы и конструируют религиозные практики в своей повседневной жизни. Порой это происходит вопреки усилиям священнослужителей даже католической церкви. Так, например, в Латинской Америке существовало и продолжает развиваться массовое народное почитание Девы Марии (культ Девы Марии Гваделупской в Мексике и пр.). Там она считается центральной фигурой христианства, ее культ распространяется на все сферы жизни латиноамериканцев, хотя в церковной иерархии есть активные критики преувеличений «марионизма» [8. С. 52—53].

Свободомыслие и борьба с религией — характерная черта французской культурной элиты со времен Просвещения. Для наследника жесткого антиклерикализма французских интеллектуалов религия — это социально сконструированная иллюзия. Подход Бурдьё укоренен в эту традицию. Он не был религиозным человеком и не проявлял никакой склонности или симпатии к любым верованиям. Его взгляды можно назвать критичными и враждебными церкви. Он был убежден, что религиозное поле формируется и действует в соответствии с экономической логикой спроса и предложения. Религиозные нужды мирян составляют спрос, а церковь в лице ее «специалистов» производит и поставляет религиозный капитал.

В некоторых моментах терминология Бурдьё внешне похожа на «новую парадигму» изучения религии, которая в конце XX в. широко распространилась в США под влиянием теорий рационального выбора. Эта парадигма при анализе религиозных верований и практик также пользуется терминологией «спроса» и «предложения», «конкуренции» и «продажи». Однако позиция Бурдьё во многом расходится с такой экономической интерпретацией религии. Он дистанцировался от набравшей популярность в Северной Америке «новой парадигмы», поскольку не верил в существование рационального актора на микроуровне, который бы мог совершать индивидуальный выбор на свободном рынке [21. Р. 239].

Почему религия заслуживает внимания исследователя? Она дает людям смысл, дает систематический ответ на вопрос о жизни и смерти. Религия способна формировать мировоззрение и направлять деятельность индивидов. Ни один институт не обладает такой силой внушения, как религия. Но эта система символического смысла используется главным образом для того, чтобы увековечить социальное доминирование господствующего класса [20. Р. 6]. Религия — это одна из «символических систем», предназначенных для узаконения и воспроизводства неравноправных и несправедливых социальных порядков. Она освящает социальные различия и неравенства.

Влияние К. Маркса на теорию Бурдье очевидно. Марксизм утверждает, что элиты используют религию, чтобы защищать свои интересы, власть и привилегии, оправдать несправедливый общественный строй, держать массы в подчинении. Религиозные представления и практики способствуют сохранению и воспроизводству общественного порядка, освящают и санкционируют его. Как и Маркс, Бурдье делает акцент на том, что религия сохраняет сложившийся социальный порядок и служит легитимации власти. Религия видится с таких позиций как стратегия, используемая господствующим классом для поддержания своих позиций.

Неудивительно, что наработки Бурдье использовались прежде всего латиноамериканскими последователями Маркса, стремящимися преодолеть ограничения марксизма. Теория Бурдье применялась ими для анализа того, как католическая церковь на протяжении многих веков участвовала в колонизации и порабощении европейскими державами народов Латинской Америки. В частности, Отто Мадуро использовал модель Бурдье для объяснения того, как религия способствовала легитимации разделения между богатыми и бедными, обосновывала социальное доминирование политических и экономических элит в истории Латинской Америки. Мадуро с помощью концепции Бурдье пытался показать, как строились отношения между церковью и латиноамериканским обществом, как иерархия католической церкви производила практики и дискурсы, которые узаконивали и сакрализовывали господство элит, поддерживали колониальные завоевания, систему принудительного труда и общественное неравенство [19].

Э. Дюркгейм и особенно М. Вебер также повлияли на теорию религии Бурдье. Вслед за Дюркгеймом он подчеркивал интегрирующую роль религии в обществе, как и Вебер использовал понятия «церковь», «колдун», «пророк» и др. «Церковь» понимается им как иерархическая организация, традиционная для определенной местности, имеющая профессиональных священнослужителей — носителей легитимной символической власти. Как правило, Церковь прибегает к помощи государства. Авторитет церкви основан на священной традиции. «Пророк», напротив, выступает как носитель самостоятельной харизмы и «притязает на авторитет в силу личного откровения» [6. С. 122]. Пророк возвещает волю Бога. Часто он основывает секту, то есть оппозиционную религиозную структуру, и стремится ниспровергнуть существующий порядок. «Колдун» также свободен в своих действиях, не является служащим в организованном предприятии. Он предлагает свои магические услуги, составляя конкуренцию пророку и церкви.

Таким образом, в религиозной сфере разворачивается борьба между этими тремя игроками. «Пророки» стремятся разрушить монополию «церкви» в производстве религиозного капитала. В итоге это приводит к религиозному плюрализму и секуляризации [20. Р. 105]. В данных рассуждениях Бурдьё не слишком оригинален, и следует интеллектуальным стереотипам середины XX в. Он был уверен, что современное капиталистическое общество может быть только светским, а религия в современном мире находится в упадке.

ПОЛЕ, КАПИТАЛ И ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ

Основные понятия теории Бурдьё не отличаются исключительной точностью и определенностью. Так, например, социальное поле обычно описывают как исторически сложившуюся автономную сферу социальной жизни, которая имеет свойственные только ей цели и ресурсы. Бурдьё пишет о полях политики, экономики, религии, науки, культуры, спорта и других. Каждому полю присущи соответствующие ему институты и практики. Например, в политическом поле в рамках специфических практик действуют те, кто имеет отношение к политике. В их руках сконцентрирован политический капитал, только они имеют доступ к власти и производят политические события.

Для каждого отдельного поля характерны специфичные формы капитала. В частности, выделяются такие виды капиталов, как экономический (деньги, недвижимость и прочие материальные ресурсы), образовательный (дипломы, ученые степени, звания, академические позиции и авторитет), культурный (изысканные манеры и вкус, знание литературы, музейных коллекций, репертуара театров), социальный (сети контактов и принадлежность к высшим классам), символический (имя, престиж, репутация, известность, популярность).

Обладание капиталом в том или ином поле определяет позицию во властных отношениях в соответствующем поле. Тот, кто обладает большим капиталом, тот занимает более высокие статусные позиции и получает лучшие возможности. Меньший капитал означает низкий статус. Капитал — инструмент господства, он определяет возможности актора и определяет его позицию. Само поле понимается как «поле боя», место борьбы за обладание капиталом. Оно функционирует как конкурентный рынок, где отдельные лица или группы соревнуются между собой за более высокое статусное положение.

Хотя отдельные поля (культурное, политическое, религиозное и др.) являются относительно автономными, все они гомологичны, т.е. характеризуются при помощи единой логики. Все поля расположены в метаполе власти. Это позволяет переносить капитал из одного поля в другое. После передачи в другие поля капитал преобразуется в другие его формы. К примеру, религиозный капитал часто бывает тем или иным образом монетизирован или переведен в политическое поле и использован для улучшения позиций его обладателя в области власти [20. Р. 46].

Религиозное поле — одно из многочисленных полей, которое взаимосвязано с другими. Его характеризует конкуренция между «церковью», «пророком» (или «ересиархом») и «колдуном» за производство религиозного капитала и за поддержку и симпатии мирян. Церковь стремится к монополии на производство религиозного капитала, а ее основной интерес — доминирование в религиозной сфере.

В чем суть религиозного капитала, который производит церковь? Он связан с механизмами установления господства в социальном мире. Власть редко осуществляется в виде явной физической силы. Во всех обществах порядок и социальная иерархия поддерживаются не прямым путем принудительного социального контроля, а с помощью косвенных культурных механизмов. Господство одного человека над многими людьми предполагает их согласие подчиниться, их веру в законность руководителя. Бурдье уточняет веберовское определение государства как такого человеческого общества, «которое внутри определенной области претендует на монополию легитимного физического насилия» [7. С. 486]. Бурдье полагает, что правильнее говорить о монополии на символическое насилие, «поскольку монополия на символическое насилие является условием реального владения монополией на физическое насилие» [5. С. 50]. Символическое насилие связано с введением смыслов, норм, ценностей и символики. Это построение видения социального мира, которое обосновывает и оправдывает существующие в нем социальные разделения и неравенства, экономические и политические границы, освящает привилегии господствующих классов, а главное — санкционирует власть и определяет ее легитимность.

Акты символического насилия может совершать тот, кто обладает символическим капиталом. Символический капитал материализует, узаконивает и воспроизводит социальные различия, статус, признание. Все формы капитала могут быть преобразованы в символический и сделаться оружием символического насилия, но ближе всего к этому религиозный капитал. Религия, освящая власть, сакрализует и абсолютизирует относительное и произвольное. Создавая символический капитал, навязывая и внушая общие схемы мышления, она заставляет людей определенным образом видеть социальный мир, усваивать освященную ей структуру политических, экономических и социальных отношений [4. С. 55].

Церковь формирует восприятие социального мира, конструирует социальную реальность, вырабатывает классификацию и иерархию ценностей [2. С. 204]. Социальная система выстраивается по образцу небесной иерархии, утвержденной Богом. «Религия производит эффект узаконивания, 1) трансформируя посредством своих освящающих санкций экономические и политические (т.е. фактические) границы и барьеры в правовые...; 2) заставляя усвоить освященную систему практик и представлений, чья структура воспроизводит в преобразованном, а значит — неузнаваемом виде структуру экономических и социальных отношений, реально существующую в данной социальной формации» [4. С. 27—28].

Эта модель при всей ее абстрактности и трудностях проработки понятий, тем не менее, фиксирует некоторые реальные процессы, имеющие место в жизни многих обществ. Как уже говорилось, исследователи находили эту модель наиболее подходящей для средневековой католической Европы или для Латинской Америки. Бурдье, конечно, редуцирует религию к борьбе за власть, утверждая, что религиозный капитал настолько значим в обществе, насколько он может быть преобразован в формы политического капитала.

Но в отличие от марксизма религия у Бурдье играет важнейшую роль в устройении общества. Она генерирует смыслы, иерархию ценностей, утверждает за-

конность господства и легитимирует формы социальной дифференциации. Религиозные учреждения в этой модели производят санкцию политического и экономического порядка.

Производителей религиозного капитала Бурдьё наделяет огромной властью и завышенными, на наш взгляд, возможностями. Но его теория позволяет увидеть те аспекты отношений между религиозными и политическими институтами, которые ускользают при оперировании категориями иных социальных теорий. Модель Бурдьё приписывает церкви заслуги в поддержании социального порядка и легитимности власти. Религия оказывается ответственной за изъяны и несправедливости общества, выступая инструментом борьбы за богатство и власть, что имеет мало общего с евангельским идеалом. Для сотериологической же стороны религиозной жизни в такой модели просто не остается места.

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И HABITUS

Конструктивистский структурализм Бурдьё представляет собой искусный синтез по меньшей мере двух социальных учений. В середине XX в. наиболее влиятельной доктриной во Франции стал структурализм, который вытеснил господствующий в 1940—1950 гг. экзистенциализм Ж.-П. Сартра. Последний утверждал безграничную свободу человека, возможность делать индивидуальный выбор («существование прежде сущности») [12. С. 659—663]. Структурализм же, наоборот, настаивал на том, что структуры не создаются людьми, а действуют независимо от субъектов и без всякого участия с их стороны, при этом детерминируя общество, социальный статус человека и его поведение. Идея создающего самого себя автономного субъекта в структурализме отвергается. Считается, что в основе всякого человеческого поведения, всякой умственной деятельности лежит структура, которая может быть обнаружена посредством специального анализа. Структурализм К. Леви-Стросса и экзистенциализм Сартра соответственно иллюстрируют два полюса в социальной теории. Проект Бурдьё был попыткой синтеза и преодоления этих противоположностей. Он стремился соединить два принципиально разных подхода к изучению общественной жизни: утверждение творчества, свободы и индивидуального выбора, с одной стороны, и наличие жестких детерминаций и действующих независимо от сознания агентов структур, с другой.

Снятие антиномии детерминизма и свободы, синтез структурализма и конструктивизма он предпринимает при помощи понятия *габитус*. Это понятие призвано показать, что существуют устойчивые объективные структуры, не зависящие от сознания и воли людей. Они способны стимулировать те или иные действия и стремления индивидов. Но сами эти структуры создаются и существуют только, когда в них действует человек. Без игроков нет игры.

Понятие габитуса позволяет объяснить, как социальное в своей кристаллизованной форме действует в каждом индивиде, задает его восприятие и понимание социального мира, предпочтения, предрасположенности действовать и реагировать определенным образом, способы думать и чувствовать. Габитус Бурдьё в этом смысле отчасти напоминает априорные категории И. Канта [9. С. 107—114].

На концепцию габитуса также повлияло понятие «этоса» Макса Вебера и представления о «техниках тела» Марселя Мосса, который обращал особое внимание на телесные репрезентации, считая их культурно и социально обусловленными [11. С. 311].

Для объяснения того, что такое габитус, Бурдьё указывает на модель «порождающей грамматики» Н. Хомского. Каждый носитель языка благодаря грамматике способен произвести и понять неограниченное число языковых выражений для самых разнообразных ситуаций. Знание языка равнозначно владению этой порождающей процедурой, которая подчинена строгим правилам. Носитель языка «имплицитно владеет очень точной системой формальных процедур составления и интерпретации языковых выражений. Эта система постоянно применяется автоматически и бессознательно, чтобы производить и понимать новые предложения» [13. С. 18].

Точно так же габитус можно представить как механизм, спонтанно порождающий практики, потребности и интересы человека, обеспечивающий устойчивость, вкус, внутреннее единство и целостный стиль. Габитус включает некую систему прочных предрасположенностей, схем и правил (диспозиций), которые регулируют действия, восприятие, мышление, способ выражения речи, систему ценностей и т.д.

Габитус имеет разные измерения: телесные (осанка и жесты), моральные, когнитивные, лингвистические, эстетические, эпистемологические. Он в чем-то аналогичен грамматике языка — из ограниченного числа правил индивид производит неограниченный набор стратегий, практик, направленных на адаптацию к социальному миру. Например, мужской габитус выражает, что такое «быть настоящим мужчиной». Он порождает мужское поведение, манеру вести себя, держать соответствующим образом тело и т.п. Существуют разные групповые габитусы. Бурдьё даже определяет класс как такую совокупность людей, которые в силу общности и схожести исторических условий существования и социализации обладают относительно однородным габитусом. У людей из одного класса габитусы, конечно, различаются в силу индивидуальных жизненных траекторий, но в целом они достаточно похожи, что и позволяет говорить о едином классе. К примеру, городские рабочие будут похожим образом воспринимать жизнь, действовать, реагировать на какой-либо опыт, потому что у них сформирован соответствующий габитус. То же самое можно сказать о таких социальных группах, как священник, школьный учитель, художник и т.д.

Габитус как «имманентный закон, вписанный в тела сходной историей» [3. С. 115] образуется в процессе социализации в определенном поле, его формирование начинается с детства, когда человек усваивает схемы мышления, восприятия и действия, «правила игры» и стратегии, которые позволяют спонтанно реагировать на различные ситуации («чувство игры»). Габитус интегрирует весь прошлый опыт, обуславливает его активное присутствие в настоящем. Его можно назвать переведенным внутрь ансамблем социальных отношений, «продуктом интериоризации объективных социальных структур» [15. С. 283]. Он обладает устойчивостью и долговечностью, но в то же время не является неизменяемым.

Таким образом, человек производит практики и воспроизводит те самые структуры, которые породили его габитус. При этом человек действует спонтанно и обладает ощущением свободы.

К недостаткам теории Бурдьё относят то, что он так и не смог до конца преодолеть жесткий структуралистский детерминизм. Хотя «в „черном ящике“ габитуса содержатся допущения целостности и постоянства личности» [10. С. 270], но, как отмечают исследователи, «большая часть наших действий, особенно тех, которые проистекают из габитуса, — действия просто спонтанные, а не собственно свободные, хотя они явно не являются вынужденными» [1. С. 229]. Человек не замечает принуждения. «Невидимая тюрьма» состоит в том, что принцип, порождающий действия индивида, лежит вне его. Даже самые свободные поступки могут оказаться результатом манипулирования со стороны невидимых агентов, интересы которых противоположны интересам индивида.

ГАБИТУС И ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ

Для исследований религии оказался очень полезен введенный Бурдьё термин *религиозный габитус*. Что это такое? Каждый верующий является носителем характерных для его религиозной группы практик. Это определенные ритуалы и манера их исполнения, освящаемый ими образ жизни, повседневные навыки, нормы и условности, смыслы и ценности, потребности и интересы, реакция на религиозных лидеров. Принадлежность к религиозной группе предполагает также некий религиозный опыт. Он может носить самый разный характер — от экстатических радений до молитвенного безмолвия. В религии есть представления о природных и сверхъестественных мирах. Отношения с трансцендентной реальностью в разных традициях допускают разную степень «рациональности» и «эмоциональности». Используются религиозные символы, которые важно определенным образом воспринимать и как-то на них реагировать (почитание икон в православии, поклонение Святым Дарам в католичестве и т.п.). В результате религия во многом формирует у своих приверженцев вкус и стиль, а также форму их выражения.

Между верующими одной конфессии существует как бы «неявный сговор», поскольку они являются продуктом схожих условий, их матрица восприятия сформирована одинаковым множеством диспозиций. Католики в любой точке мира поймут и узнают друг друга, даже не зная языка своих единоверцев. В еще большей степени поймут друг друга сунниты или, допустим, униаты. Религиозный габитус порождает определенные мысли, представления и действия, соответствующие доктрине, нормам и ритуалам конкретной конфессии. В религиозном габитусе воплощена традиция и история конфессии, он является средством закрепления практик и их трансляции следующим поколениям.

Бурдьё полагал, что цель церковной иерархии — установить и сохранить монополию в производстве и управлении религиозным капиталом. «Религиозный капитал заключается в долговременном изменении представлений и практик мирян путем внушения им религиозного габитуса как порождающего принципа любых мыслей, восприятий и действий, согласующихся с религиозным представлением о естественном и сверхъестественном мире» [4. С. 39].

Церковь стремится стать доминирующей и вытеснить мелких конкурентов, таких как «пророки» и «колдуны». Стремясь в этом заручиться поддержкой государства, религия оказывается предрасположена выполнять в обществе идеологическую функцию. При этом политические элиты ее могут использовать для одобрения и легитимации своего произвола. Так, католическая церковь участвовала в колонизации и разрушении традиционного образа жизни коренных народов Африки и Америки. Еще в молодости во время этнографических исследований среди сельских крестьян Кабилии Бурдые в течение нескольких лет был свидетелем ужасов колониальной оккупации и разрушения традиционной культуры Алжира. Он наблюдал механизмы господства французских колонизаторов и их разрушительные последствия для алжирского общества. Религия, по его мнению, играла отвратительную роль в узаконивании худших видов несправедливостей в истории человечества, таких, как рабство и геноцид [20. Р. 59]. Имея левые политические взгляды, Бурдые был убежден, что социология должна раскрывать причины несправедливых социальных порядков и тем самым бороться с ними.

Для реализации этих целей Бурдые изучал прежде всего взаимосвязь между религиозным габитусом и символическим насилием. Его интересовало, как габитус участвует в создании и увековечении неравенства. Однако это понятие оказалось перспективным для исследований религии — не только как средство анализа причин социальной несправедливости. Оно стало отправной точкой для некоторых новых подходов в изучении ритуала и ритуальной деятельности. Классическими стали научные труды Кэтрин Белл, которая переработала и применила парадигму Бурдые, чтобы выявить специфику и логику ритуала и ритуального поведения [16].

Весьма интересное, на наш взгляд, использование концепции габитуса Бурдые предложил один из ведущих американских антропологов религии Томаш Чордаш. В своих первых исследованиях он опирался на теорию французского социолога, что оказалось очень плодотворно. Отталкиваясь от идеи габитуса как «структурированного социумом тела», Т. Чордаш провел обширные исследования католического харизматического движения в Северной Америке. Его подход по преимуществу сфокусирован на изучении телесности человека, чувствовании себя. Эта традиция восходит к работам М. Мосса и М. Мерло-Понти. С помощью понятия харизматического габитуса Чордаш анализирует новые католические ритуальные практики: «святые падения», «отдых в Святом Духе», а также одержимости и исцеления. Эти практики были восприняты непосредственно от протестантских харизматов США в начале 1970-х гг.

В частности, практика тела «отдых в Духе»: человек падает и оказывается с закрытыми глазами лицом вверх на полу в течение от нескольких секунд до нескольких часов. Она расценивается как соприкосновение с Божественным в священном обмороке. «Отдых в Духе» предполагает приятные ощущения радости, свободы, мира, любви, головокружения, тепла. Человек забывает себя, блаженные чувства захлестывают его с головы до ног [17. Р. 242—243].

В харизматической ритуальной жизни эта практика расценивается общиной как духовный рост, демонстрирует веру человека, его открытость для божественной силы, близость к Богу или «тронуемость» Богом [17. Р. 248]. Позволить себе

упасть понимается как символ отдачи божественной воле. Субъект теряет контроль над своим телом. Подлинное падение в обморок должно происходить спонтанно, без акта воли.

Существуют и другие признаки подлинности. Практика признается недостоверной, если человек ее симулирует, или падает умышленно, или из желания опыта, жажды получить внимание других, или от давления со стороны окружения, когда большинство других падают [17. Р. 255]. Все участники этих практик не отвергают возможность «аутентичного» «отдыха в Духе», и большинство сообщает о переживании такого опыта, по крайней мере единократного. Противоположная практика — одержимость. Она проявляется в том, что тело дергается, корчится, рычит и шипит. Когда подобные соматические признаки прекращаются, это показывает, что злой дух уходит, то есть происходит исцеление. Священный обморок и одержимость понимаются общиной верующих как появления добра и зла, воплощение, соответственно, божественного исцеления и демонического саморазрушения.

Следуя Бурдьё, можно интерпретировать данные практики, связав их не только с социальной структурой тех или иных общин, но и с современным североамериканским культурным фоном. Верующие воспринимают их как проявление близости к Богу, а не как обычную истерику или бред сумасшедшего потому, что габитус генерирует эти формы ритуального поведения как нормальные, имеющие смысл, свидетельствующие о духовном благополучии и избранности.

Социальная теория непрерывно развивается. Это развитие во многом происходит благодаря наличию разных подходов, дискуссиям и спорам между их представителями. Каждое научное направление имеет свои сильные и слабые стороны. Ни один ученый не застрахован от ошибок и недостатков. Сегодня вряд ли можно принять в неизменном виде подходы, предложенные Бурдьё. Его теория религии не лишена изъянов и ограничений: это и заикленность на вопросах легитимации власти, и довольно циничный «товарно-рыночный взгляд» на суть религии и деятельность церковной иерархии, якобы исключительно корыстной и мотивированной лишь погоней за прибылью. По мнению Б. Тернера, хотя сам Бурдьё и не внес значительного вклада в социологию религии, но, тем не менее, его ключевые понятия дают возможность плодотворного исследования религии [21. Р. 241], а религиозоведческий инструментарий представляется весьма перспективным и активно используется многими современными учеными.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Бурвесс Ж.* Правила, диспозиции и габитус // Социоанализ Пьера Бурдьё. М.: Ин-т экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2001.
- [2] *Бурдьё П.* Начала. М.: Socio-Logos, 1994.
- [3] *Бурдьё П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
- [4] *Бурдьё П.* Социальное пространство: поля и практики. М.: Ин-т экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2007.
- [5] *Бурдьё П.* О государстве. Курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992). М.: Дело, 2016.
- [6] *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
- [7] *Вебер М.* Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.—СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014.
- [8] *Даненберг А.Н.* Латиноамериканский католицизм на пороге XXI в. М.: Дело, 2015.
- [9] *Кант И.* Критика чистого разума // Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М.: Изд-во «Чоро», 1994.

- [10] Коркюф Ф. Коллективное в споре с единичным: отталкиваясь от габитуса // Социоанализ Пьера Бурдьё. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.
- [11] Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011.
- [12] Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: АСТ, 2015.
- [13] Хомский Н. О природе и языке. М.: URSS, 2017.
- [14] Фобьон Д.Д. Бурдьё в Америке // Этнографическое обозрение. 2007. № 4.
- [15] Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдьё // История теоретической социологии. Социология второй половины XX — начала XXI века. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2010.
- [16] Bell C. *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford—N.Y.: Oxford University Press, 1992.
- [17] Csordas T.J. *The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing*. Berkeley: University of California Press, 1994.
- [18] Dianteill E. Pierre Bourdieu and the sociology of religion: A central and peripheral concern // *Theory and Society*. 2003. Vol. 32.
- [19] Maduro O. *Religion and Social Conflicts*. Maryknoll. N.Y.: Orbis Books, 1982.
- [20] Rey T. *Bourdieu on Religion. Imposing Faith and Legitimacy*. L.—N.Y.: Routledge, 2014.
- [21] Turner B.S. *Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion // The Legacy of Pierre Bourdieu. Critical Essays / Ed. by S. Susen, B.S. Turner*. L.—N.Y.: Anthem Press, 2011.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-38-50

APPROACHES TO THE STUDY OF RELIGION IN PIERRE BOURDIEU'S SOCIAL THEORY*

A.V. Sitnikov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119606, Russia
(e-mail: av.sitnikov@migsu.ranepa.ru)

Abstract. The article considers Pierre Bourdieu's approaches to the study of religion: the author analyzes basic concepts of Bourdieu's sociology of religion and identifies religious spheres and traditions to which his ideas can be applied. The methods developed by Bourdieu, despite their limitations, successfully work in the contemporary studies. Bourdieu's theory of religion became the starting point for some new approaches, in particular, for the study of ritual practices. His concept of religious habitus allows to analyze the mechanisms by which the religion generates certain practices, conventions, life styles, meanings and values according to its doctrine and experience. Representatives of one denomination usually not only follow the same rules and rituals, but also have a similar taste, life style and perception of religious leaders. The habitus embodies traditions and history of a denomination; it is a means of keeping up practices and their transfer to next generations. At the same time, Bourdieu's approaches to the study of religion have some weaknesses: his theoretical model is too dependent on the French context and describes mainly the catholic church; his techniques aim to analyze the relationship between the state and the dominant church with its hierarchical structure. Another limitation of Bourdieu's approach is that he attributes economic logic of supply and demand to the religious activities, and defines religion as determined exclusively to legalize and reproduce unequal and unjust social order. Bourdieu believed that the church was always linked with the mechanisms of social domination, exercise of power and consecration of the ruling classes' privileges, i.e. with the merits of maintaining social order and legitimizing the power. Thus, Bourdieu credits the producers of religious capital with too much power and capabilities, which they do not really have. In Bourdieu's theory, religion is an instrument of the struggle for power responsible for social deficiencies and injustices. That is why his theory misses many important aspects of religion.

Key words: P. Bourdieu; religion; power; field; capital; habitus; sociology of religion; social theory

* © A.V. Sitnikov, 2016.

REFERENCES

- [1] Bouvresse J. *Pravila, dispozicii i gabitus* [Rules, dispositions and habitus]. Socioanaliz P'era Burd'e. Moscow: In-t eksperimental'noj sociologii; Sankt-Peterburg: Aletejja; 2001 (In Russ).
- [2] Bourdieu P. *Nachala* [In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology]. Moscow: Socio-Logos; 1994 (In Russ).
- [3] Bourdieu P. *Prakticheskij smysl* [The Practical Meaning]. Sankt-Peterburg: Aletejja; 2001 (In Russ).
- [4] Bourdieu P. *Social'noe prostranstvo: polja i praktiki* [Social Space. Fields and Practice]. M.: In-t eksperimental'noj sociologii; Sankt-Peterburg: Aletejja; 2007 (In Russ).
- [5] Bourdieu P. *O gosudarstve. Kurs lekcij v Kollezh de Frans (1989—1992)* [About the State. Lecture Course in College de France. 1989—1992]. Moscow: Delo; 2016 (In Russ).
- [6] Weber M. *Izbrannoe. Obraz obshhestva* [Selected Works. The Image of Society]. Moscow: Jurist; 1994 (In Russ).
- [7] Weber M. *Izbrannoe: Protestantskaja etika i duh kapitalizma* [Selected Works. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism]. Moscow, Sankt-Peterburg: Centr gumanitarnyh iniciativ. Universitetskaja kniga; 2014 (In Russ).
- [8] Danenberg A.N. *Latinoamerikanskij katolicizm na poroge XXI v.* [Latin American Catholicism on the Threshold of the 21st Century]. Moscow: Delo; 2015 (In Russ).
- [9] Kant I. *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. Sobranie sochinenij v vos'mi tomah. T. 3. Moscow: Izdatel'stvo «Choro»; 1994 (In Russ).
- [10] Corcuff Ph. *Kollektivnoe v spore s edinichnym: ottalkivajas' ot gabitusa* [Collective in the unit. Based on habitus]. Socioanaliz P'era Burd'e. Moscow: In-t eksperimental'noj sociologii; Sankt-Peterburg: Aletejja; 2001 (In Russ).
- [11] Mauss M. *Obshhestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po social'noj antropologii* [Societies. Exchange. Personality. Studies in Social Anthropology]. Moscow: KDU; 2011 (In Russ).
- [12] Sartre J.-P. *Bytie i nichto. Opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothingness. Experience of a Phenomenological Ontology]. Moscow: AST; 2015 (In Russ).
- [13] Chomsky N. *O prirode i jazyke* [About the Nature and Language]. Moscow: URSS; 2017 (In Russ).
- [14] Faubion J. Bourdieu v Amerike [Bourdieu in America]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 2007; 4 (In Russ).
- [15] Shmatko N.A. Geneticheskij strukturalizm P'era Burd'e [Genetic structuralism of Pierre Bourdieu]. Istorija teoreticheskoy sociologii. Sociologija vtoroj poloviny XX — nachala XXI veka. Moscow: Akademicheskij proekt; Gaudeamus; 2010 (In Russ).
- [16] Bell C. *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford—N.Y.: Oxford University Press; 1992.
- [17] Csordas T.J. *The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing*. Berkeley: University of California Press; 1994.
- [18] Dianteill E. Pierre Bourdieu and the sociology of religion: A central and peripheral concern. *Theory and Society*. 2003;32.
- [19] Maduro O. *Religion and Social Conflicts*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books; 1982.
- [20] Rey T. *Bourdieu on Religion. Imposing Faith and Legitimacy*. L.—N.Y.: Routledge; 2014.
- [21] Turner B.S. Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion. S. Susen, B.S. Turner (Eds.). *The Legacy of Pierre Bourdieu. Critical Essays*. L.—N.Y.: Anthem Press; 2011.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-51-62

СЕТЕВОЙ ФРОНТИР КАК МЕТАФОРА И МИФ***Н.В. Плотичкина¹, Е.Г. Довбыш²**¹Кубанский государственный университет,
ул. Ставропольская, 149, Краснодар, 350040, Россия
(e-mail: oochronos@mail.ru)²Национальный исследовательский институт мировой экономики
и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН,
ул. Профсоюзная, 23, Москва, 117997, Россия
(e-mail: edovbysh@gmail.com)

В статье рассматриваются пространственные метафоры Интернета, подчеркивается возможность экстраполяции тезиса о фронтире Ф.Дж. Тернера на концепт электронного фронта. Указывается, что информационно-коммуникационные технологии и цифровой мир стали новыми пространствами для экспансии государств или отдельных граждан. Представлена характеристика научных дискуссий о границах и потенциале применимости метафористических конструкций западного и электронного фронтиров для аналитического описания цифрового пространства. Описана дискуссионность метафористического конструкта Интернета как западного фронта; для зарубежных исследователей аналогия электронного фронта является более эвристичной и валидной в ходе конструирования метафор цифровой реальности. Сетевой фронт интерпретируется как динамичная эластичная проницаемая граница пространства освоения социокультурных практик сетевого общества. Дана оценка эвристического потенциала понятия сетевого фронта, разработанного на основе интеграции теории фронта и концепта сетевого общества с учетом эффектов процесса глобализации, для исследования эластичной проницаемой подвижной границы сетевого ландшафта. Показано, что в цифровом мире происходит трансформация пространственности, сетевая география Интернета имеет следствием метаморфозу фронта. Сетевой фронт является контактной зоной между онлайн- и офлайн-пространствами, он динамичен, носит инновационный характер, поощряет мобильности, степень его проницаемости определяется уровнем цифровой компетентности граждан. Авторы рассматривают мифологизацию западного и электронного фронтиров, перечисляют основные мифы сетевого фронта, коррелирующие с риторикой западного фронтального мифа. В статье описываются основные составляющие мифа западного фронта, связанные с идеей американской исключительности. Делается вывод, что в современном сетевом обществе циркулируют мифы о фронтирах и об осваиваемом ими онлайн-пространстве.

Ключевые слова: границы; фронтиры; теория фронта; электронный фронт; сетевой фронт; мифы сетевого фронта; мифологизация фронта; сетевое общество; социология Интернет

Цифровая социальность может интерпретироваться в контексте архитектуры онлайн-пространства сквозь призму метафоры. Виртуальное пространство социального взаимодействия подразумевает интеракции пользователей в интернет-кафе,

* © Плотичкина Н.В., Довбыш Е.Г., 2016.

Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00339 «Фронт сетевое общество как пространство политического взаимодействия».

чатах, наличие домашних страниц и онлайн-сообществ. Конфигурация виртуальной географии оправдывает применение таких метафор, как фронтир (динамичная эластичная проницаемая граница) или информационная супермагистраль. Использование пространственных метафор (Дикий Дикий Запад (Wild Wild Web), фронтир, облако, «электронное гетто») в качестве когнитивных инструментов позволяет сопоставлять цифровые ландшафты.

Флюиды современной цифровой реальности наполнили новыми смыслами и значениями фронтир. В информационную эпоху территория и пространство меняются в тандеме с фронтиром как метафористической и мифологической конструкцией; в глобальном пространстве границы трансформируются в «экстерриториальные фронтирные регионы» (З. Бауман). Сетевое общество, характеризующееся открытостью, динамичностью и постоянным взаимодействием между людьми, модифицирует конструкцию фронтаира. Информационно-коммуникационные технологии и цифровой мир стали новыми пространствами для экспансии государств или отдельных граждан.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТА ПОСРЕДСТВОМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МЕТАФОР: ОТ ЭЛЕКТРОННОГО К СЕТЕВОМУ ФРОНТИРУ

Метафористическое осмысление Интернета обусловлено значимым эвристическим потенциалом метафор, которые стимулируют воображение, вводят в поле зрения новые перспективы, модели и возможности. Если стимулирующие исследовательское воображение метафоры укореняются, они воспринимаются как реальность и становятся основой для будущих убеждений и действий. Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяли три вида метафор, позволяющих фреймировать социальную практику: *ориентационные*, транслирующие непространственные обстоятельства в пространственные ориентации; *структурные*, структурирующие один концепт в терминах другого; *онтологические* метафоры сущности и субстанции [4].

Метафористические конструкты «киберпространство», «фронтир», «дикий дикий Запад (дикий дикий веб)» возникли в 1980—1990-х гг. и отразили новаторский потенциал Интернета. Исследователи метафористически трансформировали различные формы компьютерно-опосредованной коммуникации в воображаемый ландшафт и, в частности, в электронный фронтир. Метафора «электронного фронтаира» является мощной в американском научном дискурсе. Разработанный Ф.Дж. Тернером тезис о фронтире означал сдвиг научной парадигмы относительно исторического развития национальной идентичности США. Электронный фронтир — это тот тип фронтаира, который отражает американское происхождение Интернета [13. Р. 173].

Р. Карвет и Дж. Метц рассматривают транспонируемость тезиса Ф.Дж. Тернера на концепт электронного фронтаира [10].

Во-первых, этапизация освоения западного американского фронтаира, предложенная Тернером, коррелирует с периодами развития электронного фронтаира [10. Р. 75; 12]. На смену «пионерам», зондировавшим фронтир и основавшим небольшие поселения, пришли «поселенцы», построившие колонии. На последнем этапе появи-

лись «люди капитала», «предприниматели», инвестировавшие в поселения. С точки зрения электронного фронта, «пионерами» стали ученые-инженеры, «поселенцами» — ученые, представители гражданской науки. М. Кастельс пишет о четырехслойной структуре культуры Интернета: техномеритократическая, культура хакеров, виртуальных сообществ и предпринимателей. Носители данных типов культур последовательно осваивали виртуальную галактику [3. С. 53]. «Первые дни киберпространства были как первые дни западной границы. Быстрое развитие Интернета и вычислительных устройств, программного обеспечения создали удивительные новые условия; огромная до настоящего времени воображаемая территория стала открываться для экспансии» [16. Р. 110—111].

Во-вторых, люди, освоившие электронный фронт, как и лица, покорившие Запад, активно взаимодействовали с окружающей средой; им были свойственны индивидуализм, национализм, они являлись приверженцами демократии. «Электронный фронт охватывает многие двойственности и напряженности американского Запада. Подобно западному фронтиру, э-фронт имеет значение для американских экономических и стратегических интересов, которые проявлялись сначала в континентальной экспансии; киберфронт циркулирует на популярном уровне западных романтических ностальгических мифов о бесконечных горизонтах, неограниченных возможностях и беспрепятственной свободе» [15. Р. 458].

Как и старый Запад, веб сочетает в себе обещание территориальной экспансии и «золото в горах» с легендой о самостоятельности и независимости граждан. Однако интернет-пользователь может найти свое место в виртуальном пространстве гораздо легче, нежели пионер Запада, поскольку ему не нужно пересекать физическую дистанцию в онлайн-реальности. В этом плане киберпространство — улучшенная версия американского Запада. Только компьютерно-грамотные поселенцы знают, как выжить в киберпространстве, освоить электронный фронт. В то же время киберпространство содержит обильные свободные земли, которые даруют огромные состояния и социальные возможности для тех, кто достаточно храбр и трудолюбив, чтобы рисковать в своей виртуальной пустыне. Создатели новых доткомов, венчурные капиталисты и даже рядовые инвесторы участвуют в Интернет-«золотой лихорадке».

Как и стилизованный мир американского дикого Запада, киберпространство является обширным, неизмеренным ресурсом. Как и земли американской границы, оно существует в явно непроторенной пустыне, дикой местности, наполненной неизвестными богатствами и возможностями, неуправляемыми, доступными и невостребованными. Киберпространство является пограничным регионом, населенным немногими отважными технологами, которые могут терпеть строгость своих свирепых компьютерных интерфейсов, несовместимых протоколов связи, патентованных баррикад, культурных и правовых двусмысленностей (Дж. Перри Барлоу).

Метафора электронного фронта высвечивает представление об Америке как стране возможностей и новаторского духа. Создание метафоры электронного фронта мотивировано корреляциями: *пространственными/территориальными* — между освоением виртуального пространства и экспансией на Запад и *идеологическими* — фронт как особое состояние общества.

Основное преимущество использования тезиса о фронтире Ф.Дж. Тернера в дискуссии о будущем Интернета состоит в том, что он помогает прогнозировать проблемы становления онлайн-реальности: роль правительства и экономической концентрации в развитии киберпространства [10. Р. 81]. С позиции Т. Джордана метафора фронта является доминирующей в описании киберпространства, поскольку представляет виртуальную жизнь в пространственном контексте. Пространственной интерпретации Интернета способствуют понятия контроля и доминирования в приобретении виртуальных земель [13. Р. 176]. Ф. Тернер отмечает, что риторика электронного фронта актуализировалась в ходе усилий виртуального класса или «диджерати» (Дж. Брокмэн), стремившегося упрочить свои статусные позиции и развеять опасения, вызванные бурным развитием Интернета [26].

Метафоры работают, потому что они обеспечивают исследовательскую перспективу, но принятие одной точки зрения не обязательно включает идеи, предлагаемые другими перспективами. При изучении одного объекта необходимо развивать и использовать сбалансированный набор метафор, важен доступ к альтернативным метафорам. Метафора синтезирует идеи в конкретный эквивалент, что определяет потенциал применимости метафоры для поэтической образности и аналитического описания.

Альфред Йен обращал внимание на дискуссионность метафористического конструкта Интернета как *западного фронта*, оценка эвристичности которого осложнена тем, что история метафоры представляет синтез популярной культуры и академических теоретизирований. В процессе поиска корреляций между фронтиром и Интернетом, Йен писал о том, что фронт не всегда был территорией «возможностей для всех», указанное пространство было проникнуто несправедливостью [27; 13. Р. 174].

Метафора фронта служила цели пропаганды определенных черт американского характера: «любопытность, изобретательность, практичность, независимость, трудолюбие, нетерпеливость» [27. Р. 1223], с другой стороны, — поддержке минимального регулирования сети Интернет. Глубинный романтизм, окруживший метафору, не признавал проблем безопасности. «Метафора Дикого Запада используется тогда, когда киберпространство изображается как фронт, в котором царит анархия» [9. Р. 4]. Цена цифровой свободы может быть высокой: «это кажущееся отсутствие делает киберпространство опасной дикой местностью, где есть свободная порнография, спам, кража личных данных, нарушение авторских прав, азартные игры, взлом» [27. Р. 1211].

Инвентаризация метафоры «э-фронта» в западном научном дискурсе показывает, что для многих исследователей фронтность Интернета подразумевала свободу виртуального пространства от государственного регулирования [23. Р. 577]. Дж. Перри Барлоу, основатель Фонда электронных рубежей, популяризируя метафору «э-фронта», в то же время обосновывал позицию, что внешние силы (правительство США) не должны регулировать новый виртуальный ландшафт. Электронный фронт для Барлоу — это «мир, который в равной степени всюду и нигде, но он не там, где живут телесные существа» [1]; при этом Интернет как фронт открыт на равных условиях для всех пользователей. Для различных авторов анало-

гия западного фронта (или Дикого Запада) не является валидной в ходе конструирования метафор цифрового пространства [19. Р. 15—16].

В интерпретации Пайал Ароры концептуальная проблема метафоры электронного фронта состоит в том, что она подразумевает «пустое пространство» с открытой архитектурой, которое пользователи должны самостоятельно заполнить, «колонизировать», освоить новую территорию. «На самом деле с самого начала пользователи требовали предсказуемой и безопасной архитектуры Интернета, в условиях которой они могли осуществлять виртуальные сделки и строить доверие в режиме онлайн» [20. Р. 18; 3. С. 43]. На текущий момент, как отмечает исследовательница, есть спрос на государственное регулирование Интернета, основанное на дискурсе прав человека, наряду с потребностью в пересмотре метафористической концепции цифрового пространства.

Применяя к цифровой сфере несколько пространственных архетипов, подчеркивая утилитарный аспект информации, Марк Стефик сформулировал альтернативы метафоре информационной магистрали: Интернет как цифровая библиотека, электронная почта, электронный рынок и цифровой мир [24].

Оспаривая американизированное восприятие цифровой сферы (связанное с западным фронтом), Арджун Аппадурай предложил метафору техноскейпа. Альфред Йен, указывая на иерархическую структуру интернет-пространства, разрабатывает свой вариант метафоры — «феодалное общество». Иерархическая организация доменных имен и компьютеров конструирует в Интернете феодальную форму управления, правительство Интернета фрагментировано.

Метафора феодального общества противоречит представлению о том, что плодородные земли и минимальное государственное регулирование могут обеспечить широкую свободу и процветание. «Метафора западного фронта вызывает в воображении славную историю о прогрессе в киберпространстве. В противоположность этому метафора феодального общества показывает, что нерегулируемый Интернет может нарушить свободу и процветание обычных людей» [27. Р. 1262—1263]. Р. Карвет и Дж. Метц, рассуждая на тему ограничений экстраполяции тезиса фронта Тернера применительно к Интернету, упоминали отсутствие национальных границ в киберпространстве, физического обособления освоивших киберфронт от тех, кто еще не участвует в онлайн-мире; отличие характера межличностных отношений между поселенцами электронного и западного фронтов [10. Р. 88].

Пайал Арора упоминает такие метафоры цифрового пространства, как «электронная агора», подчеркивающая стремление к подлинной публичной сфере, «электронное гетто», фиксирующее барьеры гендера, расы, этничности и класса в ограничении доступа и возможностей в пределах цифровой сферы, «пузырь фильтров» (И. Парайзер), «web 2.0» и «сеть».

В отечественном и зарубежном научном дискурсе наряду с метафорой электронного фронта активно циркулирует метафора сетевого фронта. Мирелла Маркут переосмысливает концепт э-фронта: в основе ее мультидисциплинарного исследования социально-экономической составляющей фронта — теоретическая экспликация подвижной границы с учетом эффектов глобализации и сетевой

географии киберпространства. Электронный фронт — коммуникационное пространство между различными социальными категориями, основа для социально-экономического развития путем создания единого и открытого цифрового пространства в сетевом обществе; электронный фронт — «колебание» между барьерами в Интернете и новыми пространствами экспансии [14. Р. 41]. Крис Румфорд предлагает термин «сетевые границы» [22. Р. 157]. Российские авторы интерпретируют сетевой фронт как динамичную эластичную проницаемую границу пространства контактирования, взаимовлияния социокультурных практик сетевого общества и предшествующих цивилизационных социокультурных практик [5. С. 86].

На наш взгляд, эвристичность метафоры электронного фронта возрастет, если ее концептуализация будет происходить в контексте теории «сетевого общества» М. Кастельса. Глобализация трансформирует социальные отношения в географическом пространстве; создается новая глобальная география и новые типы связей между территориями, при этом границы не исчезают, но становятся в большей степени проницаемыми, происходит метаморфоза фронта. В цифровую эпоху наблюдается трансформация пространственности и социальности [22. Р. 156], на смену пространственным сообществам приходят сети, которые не существуют в изоляции, они глубоко укоренились в макроструктурах глобальной экономики, географических структурах материального мира. М. Кастельс констатирует наличие собственной географии Интернета, состоящей из сетей и узлов, обрабатывающих информационные потоки [3. С. 221]. В интерпретации Кастельса потоки представляют «целенаправленные, повторяющиеся, программируемые последовательности обменов и взаимодействий между физически разъединенными позициями социальных субъектов в экономической, политической и социальной структурах общества» [3. С. 110].

Сетевая логика онлайн-инфраструктуры меняет смысловые коннотации электронного фронта. Лиам О'Дауд предложил следующую концептуальную делимитацию фронта, согласно которой фронт имеет четыре измерения: фронт как цифровой барьер (цифровой разрыв, цифровое неравенство), мост (роль в конструировании виртуальных сообществ), ресурс (например, экономический ресурс для электронной коммерции) и символ идентичности [18. Р. 13]. Подобная дефиниция фронта легко экстраполируется на сетевой фронт. Данный тип фронта возникает между онлайн- и офлайн-пространствами, действует в виртуальной среде. В сетевом обществе фронты — не территориальные границы, а процессы экспансии в цифровой мир сетевого общества, они сигнализируют о новых типах пространств, становятся каналами связи между сетями, сообществами, финансовыми/информационными потоками, поощряя мобильности. В отличие от границ, носящих ограничительный, разделяющий и статичный характеры, фронты динамичны и инновационны. Роль сетевых фронтов — в распространении информации, труда и капитала в других сетях, поскольку они проницаемы и поощряют инклюзию/интеграцию и коммуникацию; сетевые фронты могут быть контактными зонами между реальными и цифровыми пространствами [14. Р. 45]. Степень проницаемости сетевого фронта определяется в т.ч. уровнем цифровой компетенции граждан, позволяющей им иммигрировать в цифровую среду.

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ЗАПАДНОГО И СЕТЕВОГО ФРОНТИРОВ

Миф — воображаемый нарратив с участием вымышленных персонажей, действий, событий, репрезентирующий популярные идеи относительно природных, исторических и иных явлений. Миф как коммуникативная система позволяет индивиду «упаковать» и объяснить окружающую реальность, одновременно влияя на человека, «конструируя» его. Мифы — это истории, которые помогают людям справиться с противоречиями социальной жизни. Мы не можем решить фундаментальные разногласия жизни, но мифы говорят нам, что мы можем говорить о них способами, которые являются управляемыми (К. Леви-Стросс). «Миф не отрицает вещей, наоборот, его функция — говорить о них; но он очищает их, придает им ясность, характерную для констатации фактов» [2. С. 112].

Постепенно развиваясь, объективируясь в речевых практиках, метафора фронта обрела устойчивость мифа. Результат мифологизации выражается в наборе типичных образов фронта, бытующих в художественной, научно-популярной и иной литературе, кинофильмах, политическом дискурсе. Так, мифологичность пограничья обусловила выбор Дж.Ф. Кеннеди слогана «новый фронт» для выступления на съезде Демократической партии в 1960 г.: он удачно использовал знаковую мифа, понятную большинству американцев.

Миф американского фронта соединяет понятия физической экспансии, экономического развития и социальной справедливости [11. Р. 512]. Д.С. Панарина выделяет следующие составляющие западного фронтального мифа: миф об американской исключительности, миф о природном богатстве Запада, мифологизированные образы фронтрименов (романтизированные герои, трапперы, ковбои) [6. С. 143—162]. Миф о западном фронте, связанный с идеей американской исключительности, — это миф, описывающий создание новой государственности и новой нации; творцами мифа выступают не боги, а пионеры, разведчики, поселенцы, люди капитала. Идеалами пионеров Запада в интерпретации Ф.Дж. Тернера были: победа, гибкость, демократия, индивидуальность.

Обычно фронтальный миф включает три компонента: герой, покоритель; фронт (окружающая среда); их взаимодействие (нарратив). Образы фронтрименов говорят на понятном языке об образах прошлого. Взаимодействия между поселенцами фронта тесно вплетены в структуру мифа. Устойчивые аспекты фронтального мифа часто иллюстрируются на примере ключевого персонажа — американского ковбоя как знаковой фигуры мифического Запада, играющего центральную роль в американском понимании индивидуализма. Пограничный миф подчеркивает важность героя, персонафицированного в образе ковбоя; в дополнение к его фигуре М. Стаки выделила следующие элементы риторики западного фронтального мифа: триумф американской цивилизации над дикостью; идея движения как ключ к пониманию «предопределения судьбы»; покорение аборигенного населения белыми колонистами; ценность демократии [25. Р. 251].

Мифы и легенды Запада тщательно переплетаются в американской истории и культуре, они с готовностью приходят на ум всякий раз, когда мы начинаем исследовать новые фронты: реальные или виртуальные. Лиминальность кибер-

пространства, не имеющего физического измерения, и по сути, мифического, продуцирует мифологичность мышления. Мифы и легенды могут быть связаны с тем, как мы идентифицируем себя в координатах сетевой фронтальной зоны.

Винсент Моско предлагает авторам, изучающим мифы киберпространства, исходить из следующих исследовательских конвенций: мифы киберпространства рассматривать в нескольких вариантах — миф как искажение, миф как шаблон восприятия, миф как мощная метафора популярного видения технологий [17]. Дональд Бейкер пишет о том, что вокруг киберпространства сложились различные мифы, которые включают, в первую очередь, саму идею электронного фронта, который мы осваиваем [7]. Тим Джордан высказывает сходную идею: есть единый миф о киберпространстве как фронтальной зоне, а также отдельные мифы электронного фронта. «В отличие от большинства мифов электронного фронта, миф о киберпространстве как фронте — не сказка, а метафора, возможно, ключевая метафора для киберпространства. Она определила понимание виртуальных земель. Этот миф не имеет начала, конца или середины, но множество образов, с помощью которых мир киберпространства может понять тот, кто знаком с «оффлайн-жизнью» [13. Р. 172].

Перечислим типичные мифы сетевого фронта: во-первых, это мифы о сетевых фронтьерах (Е.В. Морозова), т.е. героях, пионерах, ковбоях сетевого фронта (например, Дж. Перри Барлоу — типичный ковбой киберпространства) — мифы о диджерати (техническая элита цифровой эпохи), хакерах, сисадминах, программистах как «компьютерных магах», кибер-шерифах, серферах в киберпространстве, киборгах. Мифы часто оживляются трикстерами, в мире виртуального пространства эту роль играют интернет-тролли. Во-вторых, это мифы, отражающие представления поселенцев об осваиваемой фронтальной зоне (например, о построении сети Интернет на принципах свободы): мифы о ненаказуемости сетевой преступности, хакерства, киберсквоттерства и т.д.; об анонимности в виртуальном пространстве; мифы о верховном существе, паноптикуме (М. Фуко) в сети; миф о «золотом дожде» в Интернете; миф о всемогуществе, «всеведущности» сети («в Интернете есть всё»), миф о том, что Интернет выживет после ядерной войны.

В популярном дискурсе западная граница представлена как неизведанное пространство изобилующих плодородных земель, свободы и возможностей. Удаленность Запада обеспечила отсутствие правовых и социальных ограничений северо-востока США. Недовольные восточными ограничениями обрели свободу, двигаясь на запад, где находящиеся в изобилии земли и ресурсы обеспечивали их процветание. Пионеры киберпространства видели в Интернете особое пространство, лишённое правил и ограничений «реального пространства». Это делало киберпространство местом, в котором люди обретут свободу от правил реального пространства. Интернет стал фронтом, с которым возникли свобода и процветание.

Метафора «западного фронта» предполагает особый фокус исследования Интернета: конструирует Интернет как вариант американского фронта, прослав-

ляющего индивидуальность и преимущества минимального управления. Метафора свидетельствует о том, что Интернет позволит всем жить лучше, это улучшенный вариант экспансии Америки на Запад. Как и американскому Западу, Интернету присущи характеристики, которые поддерживают неограниченные экономические возможности, равенство, индивидуальную свободу. Несмотря на навязчивый миф о том, что Интернет был создан, чтобы пережить ядерную атаку, он был реализован по соображениям эффективности: распределение вычислительных ресурсов на расстоянии между различными компьютерными центрами [3. С. 23—24]. Винсент Моско проводит параллели между мифами о конце истории, политики, географии и мифами о киберпространстве (свобода, преодоление пространственных ограничений в Интернете и, соответственно, развитие электронной демократии) [17].

В-третьих, существуют мифы о барьерах, трудностях в освоении сетевых фронтальных зон, процессах «колонизации» виртуального пространства (разные мифы о вирусах в сети; мифы об интернет-зависимости; мифы о киберсуицидах; мифы о виртуализации психики; мифы о юзерах). Изначально низкая плотность населения сетевого фронта растет в связи с освоением компьютерных технологий. Пользователи сетевых ресурсов дифференцируются на «цифровых мигрантов» и «цифровых аборигенов» (М. Пренски) или «сетевое поколение» (Д. Тэпскотт). В отличие от цифровых жителей, с рождения говорящих на цифровом языке Интернета, «новобранцы» в ходе колонизации сетевых фронтальных зон сохраняют «цифровой иммигрантский акцент», им сложнее осваивать Интернет и те возможности, которые он предоставляет; компьютерные технологии для них всегда будут нести оттенок новизны [21]. «Цифровые аборигены», напротив, обладают более высоким уровнем цифровых компетенций, им свойственна «врожденная мультимедийность» [8]. Типичный образ пользователя сетевых ресурсов — это одинокий рейнджер или веб-серфер, катающийся по виртуальным волнам, встретившимся на его пути. Цифровой след пользователя остается на сетевом ландшафте. Выбор тех или иных троп, волн вызывает у пользователя ощущение, что он является частью сетевого пограничья. В соответствии с метафорой фронта пользователи являются исследователями, «поселенцами», освоившими новый ландшафт.

Таким образом, концептуализация сетевого фронта отражает сетевую логику современного мира. Синтез тезиса о фронте с сетевой методологией повышает эвристичность метафористического конструкта фронта применительно к цифровому пространству. Сетевой фронт — это «общий миф», а также иные «частные» мифы, родившиеся в ходе освоения практик сетевого общества, киберпространства: миф о свободе в сети Интернет, миф об электронной демократии, миф об Интернете как двигателе прогресса. Но это также мифологизированность образов сетевых фронтеров: диджерати, хакеров, программистов, сисадминов, кибер-шерифов, кибер-рейнджеров. Все эти разнообразные мифы являются составляющими единого мифа о сетевом фронте.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Барлоу Дж.П.* Декларация независимости киберпространства // URL: <http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/translat/deklare.html>.
- [2] *Барт П.* Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- [3] *Кастельс М.* Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
- [4] *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- [5] *Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А.* Фронтир сетевого общества // *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. Т. 60. № 2.
- [6] *Панарина Д.С.* Феномен фронта в культуре Америки и России (США и Сибирь): Дис. канд. культурологии. М.: МГУ, 2011.
- [7] *Baker D.L.* The electronic frontier and other cyberspace myths. *World & I*. 1994. Vol. 9. No. 11.
- [8] *Bennett S., Maton K.A., Kervin L.* The «digital natives» debate: a critical review of the evidence. *British Journal of Educational Technology*. 2008. Vol. 39. No. 5.
- [9] *Biegel S.* Beyond our control? Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace. Cambridge: The MIT Press, 2001.
- [10] *Carveth R., Metz J.* Frederick Jackson Turner and the democratization of the electronic frontier. *The American Sociologist*. 1996. Vol. 27. No. 1.
- [11] *Freishtat R.L., Sandlin J.A.* Shaping youth discourse about technology: Technological colonization, manifest destiny, and the frontier myth in Facebook’s public pedagogy. *Educational Studies*. 2010. Vol. 46.
- [12] *Hunter D.* Cyberspace as place and the tragedy of the digital anticommons // *California Law Review*. 2003. Vol. 91. No. 2.
- [13] *Jordan T.* Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet. L.—N.Y.: Routledge, 1999.
- [14] *Marcut M.* The Socioeconomic Evolution of the European Union. Exploring the Electronic Frontier. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- [15] *McClure H.* The wild, wild web: The mythic American west and the electronic frontier. *Western Historical Quarterly*. 2000. Vol. 31. No. 4.
- [16] *Mitchell W.* City of Bits: Space, Place and the Infobahn. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
- [17] *Mosko V.* The Digital Sublime. Myth, Power and Cyberspace. Cambridge, L.: The MIT Press, 2004.
- [18] *O’Dowd L.* The changing significance of European borders. J. Anderson, L. O’Dowd, T. Wilson (Eds.). *New Borders for a Changing Europe — Cross Border Cooperation and Governance*. L.: Frank Cass Publishing, 2003.
- [19] *Olson K.* Cyberspace as place and the limits of metaphor. *Convergence*. 2005. Vol. 11. No. 1.
- [20] *Payal A.* The Leisure Commons: A Spatial History of Web 2.0. L.—N.Y.: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- [21] *Prensky M.* Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*. 2001. Vol. 9. No. 5.
- [22] *Rumford C.* Theorizing borders. *European Journal of Social Theory*. 2006. Vol. 9. No. 2.
- [23] *Rusch J.J.* Cyberspace and the “Devil’s Hatband”. *Seattle University Law Review*. 2000. Vol. 24.
- [24] *Stefik M.* Internet Dreams: Archetypes, Myths and Metaphors. Cambridge: MIT Press, 1997.
- [25] *Stuckey M.E.* The Donner party and the rhetoric of westward expansion. *Rhetoric and Public Affairs*. 2011. Vol. 14. No. 2.
- [26] *Turner F.* Cyberspace as the New Frontier?: Mapping the Shifting Boundaries of the Network Society. URL: <http://fredturner.stanford.edu/wp-content/uploads/turner-cyber-space-as-the-new-frontier.pdf>.
- [27] *Yen A.C.* Western frontier or feudal society?: Metaphors and perceptions of cyberspace. *Berkeley Technology Law Journal*. 2002. Vol. 17.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-51-62

NETWORK FRONTIER AS A METAPHOR AND MYTH*

N.V. Plotichkina¹, E.G. Dovbysh²

¹Kuban State University,
Stavropolskaya St., 149, Krasnodar, 350040, Russia
(e-mail: oochronos@mail.ru)

²Primakov National Research Institute of World Economy
and International Relations of the Russian Academy of Sciences,
Profsoyuznaya St., 23, Moscow, 117997, Russia
(e-mail: edovbysh@gmail.com)

Abstract. This article considers spatial metaphors of the Internet and the possibility to extrapolate the frontier thesis of F. Turner on the electronic space. The authors believe that information and communication technologies and the digital world have become new spaces for the expansion of states or individuals. That is why there are ongoing scientific debates on the limits and potential of western and electronic frontiers' metaphors for analytical description of the digital space. The metaphor of the Internet as a western frontier is quite controversial; many authors prefer the electronic frontier analogy as more heuristic and valid for constructing metaphors of the digital reality. The network frontier is defined as a dynamic, elastic and permeable border of social and cultural practices of the network society. The authors estimate the heuristic potential of the concept 'network frontier' developed on the basis of integration of the frontier theory and the concept 'network society', taking into account the effects of globalization for the study of elastic, permeable and movable border of the network landscape. In the digital world, the spatiality transforms, the geography of the Internet network determines the metamorphosis of the frontier as a contact zone between online and offline spaces, which is dynamic, innovative, encourages mobility, and its permeability depends on the digital competence of citizens. The authors explain the mythology of western and electronic frontier; name the main network frontier myths related to the rhetoric of western frontier myth; describe the main components of the western frontier myth associated with the idea of American exceptionalism; and conclude with the identification of nowadays myths about frontier-men and the online space they master.

Key words: borders; frontiers; theory of frontier; electronic frontier; network frontier; myths of network frontier; mythology of frontier; network society; sociology of the Internet

REFERENCES

- [1] Barlow J.P. *Deklaraciya nezavisimosti kiberprostranstva* [Declaration of Cyberspace Independence]. Available from: <http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/translat/deklare.html> (In Russ).
- [2] Barthes R. *Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika* [Selected Works. Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, 1989 (In Russ).
- [3] Castells M. *Galaktika Internet: razmyshleniya ob Internete, biznese i obshchestve* [The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society]. Ekaterinburg: U-Faktoriya, 2004 (In Russ).
- [4] Lakoff G., Johnson M. *Metafori, kotorymi my zhivem* [Metaphors We Live by]. Moscow: Editorial URSS, 2004 (In Russ).
- [5] Morozova E.V., Miroshnichenko I.V., Ryabchenko N.A. *Frontir setevogo obshchestva* [Frontier of network society]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 2016;60(2) (In Russ).

* © N.V. Plotichkina, E.G. Dovbysh, 2016.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 15-03-00339 "Frontier of the network society as a space for political interaction".

- [6] Panarina D.S. *Fenomen frontira v kul'ture Ameriki i Rossii (USA i Sibir')* [Frontier phenomenon in the culture of America and Russia (the USA and Siberia)] [thesis]. Moscow: MGU, 2011 (In Russ).
- [7] Baker D.L. The electronic frontier and other cyberspace myths. *World & I*. 1994; 9(11).
- [8] Bennett S., Maton K.A., Kervin L. The «digital natives» debate: a critical review of the evidence. *British Journal of Educational Technology*. 2008;39(5).
- [9] Biegel S. *Beyond Our Control? Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace*. Cambridge: The MIT Press; 2001.
- [10] Carveth R., Metz J. Frederick Jackson Turner and the democratization of the electronic frontier. *The American Sociologist*. 1996;27(1).
- [11] Freishtat R.L., Sandlin J.A. Shaping youth discourse about technology: Technological colonization, manifest destiny, and the frontier myth in Facebook's public pedagogy. *Educational Studies*. 2010;46.
- [12] Hunter D. Cyberspace as place and the tragedy of the digital anticommons. *California Law Review*. 2003;91(2).
- [13] Jordan T. *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. L.—N.Y.: Routledge, 1999.
- [14] Marcut M. *The Socioeconomic Evolution of the European Union. Exploring the Electronic Frontier*. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- [15] McClure H. The wild, wild web: The mythic American west and the electronic frontier. *Western Historical Quarterly*. 2000;31(4).
- [16] Mitchell W. *City of Bits: Space, Place and the Infobahn*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
- [17] Mosko V. *The Digital Sublime. Myth, Power and Cyberspace*. Cambridge, L.: The MIT Press, 2004.
- [18] O'Dowd L. The changing significance of European borders. J. Anderson, L. O'Dowd, T. Wilson (Eds.). *New Borders for a Changing Europe — Cross Border Cooperation and Governance*. L.: Frank Cass Publishing, 2003.
- [19] Olson K. Cyberspace as place and the limits of metaphor. *Convergence*. 2005;11(1).
- [20] Payal A. *The Leisure Commons: A Spatial History of Web 2.0*. L.—N.Y.: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
- [21] Prensky M. Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*. 2001;9(5).
- [22] Rumford C. Theorizing borders. *European Journal of Social Theory*. 2006;9(2).
- [23] Rusch J.J. Cyberspace and the “Devil's Hatband”. *Seattle University Law Review*. 2000;24.
- [24] Stefik M. *Internet Dreams: Archetypes, Myths and Metaphors*. Cambridge: MIT Press, 1997.
- [25] Stuckey M.E. The Donner party and the rhetoric of westward expansion. *Rhetoric and Public Affairs*. 2011;14(2).
- [26] Turner F. *Cyberspace as the New Frontier?: Mapping the Shifting Boundaries of the Network Society*. Available from: <http://fredturner.stanford.edu/wp-content/uploads/turner-cyber-space-as-the-new-frontier.pdf>.
- [27] Yen A.C. Western frontier or feudal society?: Metaphors and perceptions of cyberspace. *Berkeley Technology Law Journal*. 2002;17.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-63-72

EUROPEAN CHRISTIAN CHURCHES AND THEIR LEVEL OF INFLUENCE*

S.A. Mudrov

Baranovichi State University,
Parkovaya St., 62, Baranovichi, 225404, Belarus
(e-mail: mudrov@tut.by)

Abstract. The article evaluates the level of influence of the Christian Churches in the European Union. In order to identify this influence, the author considers such variables as the degree of the religiosity of the state and the presence of Churches at the supranational (EU) level. Using the parameters of religiosity — belief in God, belonging to a particular denomination, and the confidence in the Church — the author identifies areas of high, medium and low influence of the Churches in the EU. The area of high influence includes Cyprus, Greece, Malta, Romania, Italy, Croatia and Poland; the medium influence area includes Germany, Spain, Finland, Ireland, Slovenia, Portugal, Denmark, Sweden, Luxembourg, Slovakia, Bulgaria, Hungary, Lithuania and Austria; and the low influence area — Estonia, the Czech Republic, France, the UK, Belgium, Latvia and the Netherlands. Only countries with the homogenous Catholic or Orthodox population are inside the area of the high influence, while the countries with multi-confessional population are mainly in the area of low influence. This is partly due to the historical circumstances, but also to the rivalry between denominations, their ability to work together, and peculiarities of social doctrines. The author believes that all Christian denominations, with the exception of some Free Churches, show readiness to cooperate with the EU institutions on a variety of issues, which is confirmed by the growing number of religious representations in Brussels, where the Catholic Church has managed to establish the most influential and professional bodies, followed by the Orthodox and then by the mainstream Protestants. However, European institutions do not show the same degree of openness and eagerness to interact with the Christian Churches as the latter express about interacting with the EU.

Key words: European Union; European integration; Treaty of Lisbon; religion; religiosity; Christianity; Churches; level of influence

The Christian Churches play a unique role in the European integration. First, due to the appropriate contribution to the initial stages of the process. Second, they embrace the features of non-state actors and use similar methods to achieve their aims. Third, the Christian Churches contribute to the formation of both European and national identities. There is one more feature, which adds to the uniqueness of the Churches and at the same time allows to assess their possible degree of involvement in the integration or the European Union politics, — this is the Church-state regimes, i.e. a unique and distinct feature, peculiar to the Christian Churches only and in contrast to all other actors of the European integration. The article develops in detail the concept of Churches as specific participants of the European integration and, especially, assesses their level of influence in the European Union. A number of important factors are considered to achieve this aim: the Churches' organisational structures, their interest in the EU politics and their attitudes towards the EU determine the ecclesiastical level of influence. The de-

* S.A. Mudrov, 2016.

gree to which a state is religious and the presence of the Churches at the supranational (EU) level are also relevant. Taking all this into account enables to estimate in detail how the Churches exercise their influence in various ways, and what level of influence is achieved by different denominations.

HISTORICAL AND CONFESSIONAL TRAJECTORIES

The formation of the Church-state systems has been a long and complicated process, not without its own conflicts and disputes. The modern models of the Church-state relations mostly developed in the XXth century since earlier “church and state institutions were closely intertwined” [11. P. 252]. In fact, in most countries of what is now the EU the monarchs generally dominated the Church and even assumed the right to appoint bishops and, furthermore, to interfere in the doctrinal issues [11. P. 253—255]. Thus, the relations between the Church and the state were largely unequal; this inequality was disadvantageous for the Churches. There is also a theory that the confessional structure had an impact on the Church-state relations. For instance, H. Knippenberg believes that the Church-state relations differ substantially between the Western and Eastern Christianity, “and this divide can be expected to have direct implications and consequences not only for political conflicts in the European states, but also for the religious landscapes involved” [6. P. 255]. His view is similar to that of John Madeley: “the pattern of church-state relations in society X can, in part at least, be explained by the fact that it is a mono-confessional Orthodox or Catholic or Lutheran society; alternatively, in the case of society Y, that it is a multi-confessional society with a particular range and balance of confessions represented. To make sense of these patterns, two factors must be examined in each case: the character of the different confessional traditions, particularly as this relates to church-state relations, and how strongly they are represented relative to other traditions [9. P. 34].

If we accept J. Madeley’s concept of the mono-confessional blocs and multi-confessional belts, then the confessional distribution in the EU will be as follows: (a) Austria, Belgium, Croatia, France, Poland, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Spain, the Czech Republic, Slovakia, Malta, Slovenia and Italy belong to the Catholic bloc; (b) Romania, Bulgaria, Greece and Cyprus belong to the Orthodox bloc; (c) Denmark, Sweden and Finland belong to the Lutheran bloc. The remaining six EU countries (Germany, the United Kingdom, the Netherlands, Hungary, Latvia and Estonia) cannot be regarded as mono-confessional states, although there are only a few religious minorities in some of them. However, in some of these states the substantial confessional changes are observed: for example, in Estonia traditionally regarded as a Lutheran country more people now identify themselves as Orthodox than as Lutherans according to the last census data [14].

RELIGIOSITY AS A FACTOR OF THE CHURCHES’ INFLUENCE

No mainstream Christian Church totally abstains from participation in the European integration process. Only sectarian Protestants, who are extremely hostile towards the EU, try to build a wall of separation between themselves and the European institutions. However, this is an exception, not a rule. In the framework of this participation, the Churches can interact with national governments on the EU issues. This interaction

can be more intense and successful for those Churches, which are more influential and highly rated within their own countries. Their level of influence is also determined by the level of religiosity and historical circumstances of their countries. In fact, the Churches can exercise more influence in the countries, in which they have more adherents (among the electorate of politicians) and contributed positively to some historical developments (for example, the Catholic Church's support for the "Solidarność" movement in Poland).

Indeed, as was noted by J. Haynes, "the more secularized a society, the less likely religious organisations will be able to play a politically significant role" [5. P. 5]. The Churches are able to influence the EU developments through the authorities of member states. However, this depends on the ability of Churches to play "a politically significant role" in their countries. In order to assess the Churches' possible significance and their ability to influence the national political settings (which depends on the ability to exercise influence at the European level), we need to identify the level of religiosity in the EU member states through the objective parameters. These include the level of belief in God and people's self-identification with a particular denominational group. In addition, the level of general trust to particular Churches helps to assess their potential influence. The latest data on the level of belief in God in Europe is available for 2010. The questions asked by the Eurobarometer distinguish the pure belief in God (presumably more of a Christian character) and a vague belief in some sort of spirit or life force. The data is available for all EU countries (see Table 1).

Table 1

The level of belief in God (%) [12. P. 204]

Country	You believe there is a God	You believe there is some sort of spirit or life force
Belgium	37	31
Bulgaria	36	43
Cyprus	88	8
Czech Republic	16	44
Germany	44	25
Denmark	28	47
Estonia	18	50
Latvia	38	48
Netherlands	28	39
Poland	79	14
Portugal	70	15
Romania	92	7
Sweden	18	45
Spain	59	20
Finland	33	42
France	27	27
United Kingdom	37	33
Greece	79	16
Hungary	45	34
Ireland	70	20
Malta	94	4
Italy	74	20
Austria	44	38
Lithuania	47	37
Luxembourg	46	22
Slovenia	32	36
Slovakia	63	23
Croatia	69	22

It is worth noting that the number of non-believers does not exceed 50% in any EU country being highest in France (40%), the Czech Republic (37%), the Netherlands (30%), Estonia (29%), Germany and Belgium (27% each) [12. P. 204]. The latest data on belonging to a particular denomination is available for 2012. This figure shows if people are willing to proclaim their religiosity and demonstrate their association with an organised religion. The question was “Do you consider yourself to be...?”, and respondents were able to express their religious affiliation. Most of them chose a Christian denomination: Catholic, Orthodox or Protestant; some chose “other Christian”. This data, which is the sum of those who articulated their belonging to particular denomination, is presented in Table 2.

Table 2

Belonging to a Christian denomination (%) [13. P. T98]

Country	Total percentage of those belonging to a denomination
Belgium	65
Bulgaria	85
Cyprus	99
Czech Republic	34
Germany	65
Denmark	71
Estonia	45
Latvia	69
Netherlands	44
Poland	92
Portugal	93
Romania	98
Sweden	52
Spain	71
Finland	82
France	58
United Kingdom	58
Greece	97
Hungary	71
Ireland	92
Malta	96
Italy	92
Austria	86
Lithuania	90
Luxembourg	75
Slovenia	68
Slovakia	78

Thus, in 27 EU countries for which the Eurobarometer data is available (all member states except Croatia) only in three (the Czech Republic, Estonia, and the Netherlands) the majority of population do not belong to any denomination or religion.

The third factor, which needs to be taken into account, is the level of confidence in the Church. Here the most recent data is available for 2008. The data of the European Values Study show that the level of confidence in the Church remains high in many EU countries. The number of people who say they have “a great deal” or “quite a lot” of confidence in the Church constitutes the majority in Croatia (53.2%), Cyprus (69.5%), Italy (64.2%), Portugal (73.5%), Greece (54.3%), Malta (79.8%), Denmark (60.6%), Ireland (54.6%), Latvia (60.2%), Lithuania (70.6%), Poland (62.7%), Slovakia (59.3%)

and Romania (85.3%). Even in other EU member states, where the level of confidence in the Church is not substantially high, no particularly high level of mistrust was recorded. The very negative assessment (“none at all”) exceeded 30% only in two cases: the Czech Republic — 44% and Spain — 33.9%, and closely approached 30% in Germany (28.1%) and Belgium (27%) [4].

If we combine three parameters analysed above, we can refer to the existence of different areas of Churches’ influence in the EU. The area of high influence includes Cyprus, Greece, Malta, Romania, Italy, Croatia and Poland; of medium influence — Germany, Spain, Finland, Ireland, Slovenia, Portugal, Denmark, Sweden, Luxembourg, Slovakia, Bulgaria, Hungary, Lithuania and Austria; and of low influence — Estonia, the Czech Republic, France, the United Kingdom, Belgium, Latvia and the Netherlands. Only Orthodox and Catholic countries with highly homogenous religious populations constitute the Churches’ areas of high influence, while the countries from the multi-confessional belts are mainly in the area of low influence. This is partly due to their historical circumstances, but also to the rivalry between denominations, their ability (or inability) to work together and the peculiarities of social doctrines (since the liberalisation of social doctrines and practices often alienates believers and does not attract new ones). These three areas enable us to identify countries where the higher participation of the Churches in the national politics (and their corresponding influence at the supranational level) is expected, and areas where participation is expected to be lower. However, to get a full picture of the situation, we need to look at the Churches at the supranational level.

CHURCHES AT THE SUPRANATIONAL LEVEL

The presence of the Churches at the supranational level is a crucial indicator for defining how actively and successfully the Churches can monitor the EU policy-making. It is of particular importance in their attempts to influence the decision-making process. The work of representations in Brussels is also a reflection of the Churches’ interest in EU developments and their desire to participate in the European integration. First, it is important to underline that only the Roman Catholic Church has established its presence in the EU at the diplomatic level in two forms: the Embassy of the Holy See to the EU, and the mission of the Sovereign Military Order of Malta. Of course, the Papal Nuncio (appointed first in the capacity of a Nuncio for the European Community in 1970) takes it as a natural task to defend, using diplomatic means, Vatican’s interests at the European level. The Sovereign Order of Malta’s circumstances are not as favorable as for the Holy See: the representation of the Order is recognized as a diplomatic entity by the European Commission, but not by the EU member states. However, no other religious representation is regarded as a diplomatic mission; none could even acquire this status.

The Transparency Register website of the European Commission lists 50 organizations in the Section V “Organizations representing churches and religious communities”. However, not all religious organisations have chosen to register in the Section. Some (for example, Christian Solidarity Worldwide, Eurodiaconia, Christian Aid and other) chose to register in the Section III “Non-governmental organizations”, and a small number of organizations did not register at all. The religious representations are mainly Chris-

tian [15]. Certainly, not all organizations have the functioning staff, a clear agenda, and an ability to monitor developments in the EU, particularly with attempts to influence its decision-making process. We can classify these representations along denominational lines. L. Leustean also suggests making a distinction along the following functional parameters: the official representation of Churches, inter-Church or convictional organizations or networks, religious orders, and single-issue organizations [8. P. 307].

The Catholic organizations working on a wide range of issues include the Commission of the Bishops' Conferences of the European Union (COMECE), Jesuit European Social Centre, and Caritas Europa. Single-issue organisations are normally concerned about immigration and refugees (one can mention here the International Catholic Migration Commission and the Jesuit Refugee Service Europe). The Orthodox representations tend to concentrate on broader issues, and include representations of the Churches of Greece, Romania, Cyprus, the Moscow Patriarchate, and the Liaison Office of the Orthodox Church (Ecumenical Patriarchate). Finally, Protestants are represented by a number of different organizations, including the Evangelical Church in Germany (EKD) office, European Evangelical Alliance, Christian Action, Research and Education (CARE for Europe), representations of the Anglican Church and of Free Churches. The ecumenical organizations are best represented by the Conference of European Churches (CEC).

CHURCHES' WORK IN BRUSSELS

The analysis of practical cooperation between the Churches and the EU institutions is important to see in more detail how the work of representations in Brussels is organized. Practical cooperation between Christian organisations and European institutions usually takes form of consultations and meetings. L. Leustean distinguishes two main types of meetings: working groups (when experts from both sides focus together on specific issues), and “‘photo opportunities between the highest levels of political and religious leadership in Europe” (when Presidents of the European Council, Parliament, and Commission are present, as well as Church leaders and leaders of other religions) [8. P. 309—310]. Although “photo opportunity” meetings are the most visible to the press and general public, they seem to be mainly ceremonial with few practical consequences. There have been twelve such meetings since 2005 (Table 3).

These meetings do not give much opportunity either for substantial interventions or for discussions. It is hardly possible to have a deep and profound discussion in a meeting which only takes place once a year, lasts for two hours, and is attended by more than 20 participants. In contrast to these photo-op meetings, the working groups are more practical and provide more opportunities for influence, especially if the Church experts are good professionals in the field. However, there are no formal rules to oversee the special involvement of Christian organizations in the EU's policy-making. The Church experts work alongside experts from secular organisations, and there is unlikely to be any preference towards the former from European institutions. Moreover, in certain cases the Church affiliation can even lead to some uneasiness, if partners have strong anti-Church views or oppose any sort of religious involvement in policy, even in the form of expertise not related to a religious agenda.

High-Level Meetings Between Religious and Political Leaders in the EU [2]

Date	Theme	Confessions present
July 2005	Rejection of terrorism and ongoing EU integration	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism and Islam
May 2006	Fundamental rights and mutual respect	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam and Buddhism
May 2007	Building a Europe based on human dignity	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism and Islam
May 2008	Climate change and reconciliation	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism and Islam
May 2009	Economic and financial crisis: ethical contributions for European and global economic governance	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism and Islam
July 2010	Combating poverty and social exclusion	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam, Hinduism and Sikhism
May 2011	A partnership for democracy and shared prosperity: a common willingness to promote democratic rights and liberties	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam and Buddhism
July 2012	Intergenerational solidarity: setting the parameters for tomorrow's society in Europe	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam, Hinduism and Baha'ism
May 2013	Putting citizens at the heart of the European project in times of change	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam and Hinduism
June 2014	The future of the European Union	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam, Hinduism, Sikhism and Mormonism
June 2015	Living together and disagreeing well	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism and Mormonism
November 2016	Migration, integration and European values	Catholic, Protestant, Orthodox, Judaism, Islam, Hinduism and Mormonism

In principle, after the Treaty of Lisbon was entered into force in 2009, it could have been expected that the Churches would have better opportunities for the influence at the supranational (European) level. As L. Leustean noted, “the latest Lisbon Treaty gives religious communities a more significant position and institutes a consultation framework with the European institutions” [7. P. 175]. Indeed, Article 17 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union envisages “open, transparent and regular dialogue” with the Churches (as well as with philosophical and non-confessional organizations). In April 2010, COMECE and CSC [Church and Society Commission] CEC articulated their “General considerations” on the implementation of this provision of the Treaty of Lisbon. They emphasized, in particular, that the Churches’ dialogue partners should include the Council, Commission, and Parliament, but also “other EU institutions and bodies” [1. P. 3], and that opportunities for dialogue should be given to both minority and majority Churches.

Explaining the characteristics of such dialogue, COMECE and CSC CEC noted the following: the openness means that the EU institutions should be willing “to work with citizens towards the goal of ‘*involvement in the lawmaking and governance*’ of the EU” [1. P. 4]. One more feature of this openness is that no policy field within the EU’s legislative and governmental competence should be excluded from this dialogue. It should also be “frank” and can focus, *inter alia*, on the promotion of universal values, as mentioned in the Preamble of the Treaty on European Union, on “the respect of human

dignity of every human being, reconciliation and intercultural understanding, as well as on the realization of the principles of subsidiarity and solidarity in EU policy” [1. P. 4]. Transparency is explained as a good opportunity to allow the interested public to know the Churches’ perspectives on EU issues and an opportunity for the EU institutions to disseminate their views to a wider audience. The provision for a regular dialogue is particularly developed, with the Christian organizations emphasizing that regular dialogue “goes above and beyond sporadic ad-hoc meetings between representatives of Churches and EU institutions” [1. P. 5]. The Churches stressed that the future dialogue framework should improve and enhance the existing one at all levels: working contacts, consultations, dialogue seminars, and high-level meetings. In fact, those high-level and most visible meetings need “common content preparation prior to the events as well as any subsequent follow-up” [1. P. 5]. Also COMECE and CEC pointed out that they would welcome participating in the hearings organised by the European Parliament. All this confirms the Churches’ readiness to closely cooperate with EU institutions.

In contrast, the European Commission’s official website does not provide such substantial and inclusive definitions of the characteristics of this dialogue as elaborated by the Christian Churches. To the European Union the openness means that the “dialogue partners can be churches, religious associations or communities, as well as philosophical and non-confessional organizations that are recognized or registered as such at national level and adhere to European values”. Transparent dialogue means that the European Commission, on a dedicated website, “conveys to the public all relevant information about the activities within the dialogue.” Finally, regular dialogue means that “the European Commission maintains a regular dialogue with interlocutors at various levels in the form of written exchanges, meetings, or specific events” without specification of how regularly [3].

This rather reserved tone on the part of the European Commission can be considered a confirmation of R. McCrea’s claim that the EU, while being not strictly secular, can in practice impose some limitations on the return of religion to the political arena [10. P. 13]. It appears that the European institutions do not show the same degree of openness and eagerness to interact with the Christian Churches that the Churches express about interacting with the EU. Certainly, it was the Churches’ achievement that in the text of the Lisbon Treaty the provisions for their dialogue with the EU were separated from the dialogue with the civil society. However, it was partially watered down by the inclusion of “philosophical and non-confessional organizations” in this dialogue. Moreover, the Churches initially requested “structured” dialogue, but this word did not appear in the Article 17. Consequently, the Article 17, if fully applied, simply means dialogue with almost everyone, without any specific obligations from the European Union. In fact, putting this Article into practice still remains an issue of concern, since it is difficult to organize the dialogue with hundreds of different denominations. Therefore, it appears that the Churches will have more chances to increase their influence if the cooperation at the policy level will become more intensive — then it is likely that the Churches will be more heard in the Brussels’ corridors of power.

This article develops the concept of the Churches as unique participants of the European integration and assesses their level of influence in the EU. To evaluate the Churches' influence, various important parameters were taken into account. First, the existing Church-state relations in the EU member states. Second, the practical cooperation between the Churches and the EU institutions. All Christian denominations (except some Free Churches) show readiness to cooperate with the EU institutions on a variety of issues. This is clearly confirmed by the growing number of religious representations in Brussels, where the Catholic Church managed to establish the most influential and professional bodies, followed by the Orthodox and then by the mainstream Protestants. In addition, the Churches work together through ecumenical organizations such as the Conference of European Churches. The Roman Catholic Church exerts a higher degree of influence and involvement at the supranational level, while at the national level this depends on the circumstances of the particular country. The variations can be tremendous even between countries within the same confessional group.

Taking into account the parameters of religiosity (the belief in God, belonging to a particular denomination and the confidence in the Church) we identified the areas of the high, medium and low influence of Churches in the EU. The area of high influence includes Cyprus, Greece, Malta, Romania, Italy, Croatia and Poland; of medium influence — Germany, Spain, Finland, Ireland, Slovenia, Portugal, Denmark, Sweden, Luxembourg, Slovakia, Bulgaria, Hungary, Lithuania and Austria; and of low influence — Estonia, the Czech Republic, France, the United Kingdom, Belgium, Latvia and the Netherlands. Thus, only countries with the homogenous Catholic or Orthodox population are inside the area of high influence. The Catholic countries are located in all three groups, which confirms that the level of influence of the Church at the national level depends not only on the denominational parameter.

REFERENCES

- [1] COMECE and CSC CEC, 2010. Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. General considerations on the implementation of the dialogue: Paragraph 3. Available from: http://csc.ceceurope.org/fileadmin/filer/csc/European_Integration/20100427_COMECE-CSC_Proposal_on_Article_17_TFEU.pdf.
- [2] European Commission, 2017. Dialogue with Churches, Religious Associations or Communities and Philosophical and Non-Confessional Organizations. Available from: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189.
- [3] European Commission: Guidelines on the implementation of the Article 17 TFEU. Available from: <http://www.eurel.info/IMG/pdf/guidelines-implementation-art-17.pdf>.
- [4] European Values Study: Integrated Dataset, 2008. Variable v205: How much confidence in: Church. Available from: <http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5>.
- [5] Haynes J. (Ed.) *Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa*. Routledge, 2010.
- [6] Knippenberg H. The political geography of religion: Historical state-church relations in Europe and recent challenges. *GeoJournal*. 2006;67.
- [7] Leustean L. What is the European Union? Religion between neofunctionalism and intergovernmentalism. *International Journal for the Study of the Christian Church*. 2009;9(3).

- [8] Leustean L. Representing religion in the European Union. A typology of actors. *Politics, Religion and Ideology*. 2011;12(3).
- [9] Madeley J. A framework for the comparative analysis of church-state relations in Europe. *West European Politics*. 2003;26(1).
- [10] McCrea R. *Religion and the Public Order of the European Union*. Oxford Scholarship Online, 2011.
- [11] Riedel S. Models of church-state relations in European democracies. *Journal of Religion in Europe*. 2008;1(3).
- [12] Special Eurobarometer 341, 2010. Biotechnology. Available from: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf.
- [13] Special Eurobarometer 393, 2012. Discrimination in the EU. Available from: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf.
- [14] Statistics Estonia, 2013: Over a quarter of the population are affiliated with a particular religion. Available from: <http://www.stat.ee/65352>.
- [15] Transparency Register. Available from: <http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-63-72

ЕВРОПЕЙСКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ И УРОВЕНЬ ИХ ВЛИЯНИЯ*

С.А. Мудров

Барановичский государственный университет,
ул. Парковая, 62, Барановичи, 225404, Беларусь
(e-mail: mudrov@tut.by)

В статье оценивается уровень влияния христианских церквей в Европейском Союзе. Для определения уровня этого влияния учитываются такие параметры, как степень религиозности в конкретной стране и присутствие церквей на наднациональном уровне (Европейского Союза). С учетом параметров религиозности — веры в Бога, принадлежности к конкретной конфессии и доверия церкви — определяются территории высокого, среднего и низкого влияния церквей в Евросоюзе. Зона высокого влияния включает в себя Кипр, Грецию, Мальту, Румынию, Италию, Хорватию и Польшу, зона среднего влияния — Германию, Испанию, Финляндию, Ирландию, Словению, Португалию, Данию, Швецию, Люксембург, Словакию, Болгарию, Венгрию, Литву и Австрию, а зона низкого влияния — Эстонию, Чехию, Францию, Соединенное Королевство, Бельгию, Латвию и Нидерланды. Только государства с однородным православным или католическим населением вошли в зону высокого влияния, в то время как страны с многоконфессиональным составом населения находятся, как правило, в зоне низкого влияния. Это частично связано с историческими обстоятельствами, а также с соперничеством между конфессиями, с их способностью (или неспособностью) к совместной работе и с особенностями их социальных доктрин. Автор отмечает, что все христианские конфессии (исключая отдельных неопротестантов) демонстрируют готовность сотрудничать с институтами Евросоюза. Данный факт подтверждается растущим количеством религиозных представительств в Брюсселе, где наиболее влиятельной является Католическая церковь, за которой следует Православная церковь и традиционные протестанты. Однако европейские институты не проявляют той же открытости и желания взаимодействовать с христианскими церквями, что очевидно со стороны церквей в отношении Евросоюза.

Ключевые слова: Европейский Союз; европейская интеграция; Лиссабонский договор; религия; религиозность; христианство; церкви; уровень влияния

* Мудров С.А., 2016.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-73-82

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИАИНСТИТУТОВ: ГЕНЕЗИС ПРЕФЕРЕНЦИЙ АДРЕСАТА*

В.Л. Музыкант

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия
(e-mail: vmouzyka@mail.ru)

Автор с позиций медиасоциологии объясняет поведение целевых аудиторий в современной медиасреде, анализирует изменения характера взаимоотношений между адресантом и адресатом. Автор рассматривает социальные механизмы функционирования современных медиаинститутов, а также изменения в предпочтениях медиапотребления у различных слоев населения, происходящие в период растущего влияния коммуникационных технологий. Автор приходит к выводу, что цифровизация приводит целевые аудитории к необходимости получать объяснения, а не просто информацию. Виртуальная реальность как новая платформа коммуникаций становится повседневной практикой, а аудитория — ее пассивным участником, требуя новых способов оперативного доступа к информации. Автор считает, что аудитория печатной прессы постепенно переходит от постоянного чтения одного-двух массовых издания к изучению большого количества узкоспециализированных изданий. И на телевидении прослеживается тенденция снижения доли основных каналов в теле-рекламных бюджетах на фоне возрастания доли специализированных сетевых каналов. При этом продолжается перемещение рекламных бюджетов на мобильные платформы; потребность в «больших данных» в реальном времени с развитием мобильной электроники возрастает — планшет и смартфон становятся атрибутами медиаэкологии, постепенно исключая телевидение. Представители цифрового поколения просматривают те же развлекательные материалы, но вне традиционной телесреды.

Ключевые слова: медиасоциология; медиасреда; электронные медиа; медийный контент; медиаинституты; социальные стереотипы; трайбализация; специализированные издания

Медиасоциология как наука о социальном функционировании медиа призвана описывать и объяснять поведение целевых аудиторий в современной медиасреде, анализировать роль и социальные механизмы функционирования современных медиаинститутов, изучающих медиаповедение различных слоев населения, изменения и предпочтения в медиапотреблении. Наступившая эра цифровизации и растущее влияние коммуникационных технологий привели к реорганизации способов производства и обмена символическим контентом, к резкому увеличению его объема и снижению общественной значимости [10. С. 5—6]. В данной ситуации «живые» коммуникации по-прежнему играют существенную роль в ситуациях, связанных с социальной напряженностью, как, например, в период массовых предвыборных кампаний [1]. Нет сомнений, что «живые», естественные СМК, сыграли,

* © Музыкант В.Л., 2016.

пожалуй, главную роль в рождении общественных организаций. Именно в ССМК-I человек еще интегрирован в коллективное целое, является одновременно и адресантом и адресатом. В ССМК-I все еще представлено коллективное творчество народа, а создаваемая им текстовая гармония является плодом этической мысли адресанта, возбуждающей фантазию адресата речи-монолога главных героев (коммуникативная жанровая форма личностного уровня общения) (табл. 1).

Таблица 1

Типология ССМК и особенности коммуникационной деятельности

Система средств массовой коммуникации/ ССМК	Организационный уровень	Вид текста	Особенности коммуникационной деятельности
ССМК-I Первобытное общество	Я = Мы	Карнавал	Прототексты
ССМК-II Средние века	Я > Мы	Собрание, церковная проповедь	Устная коммуникация
ССМК-III Изобретение печатного станка	Адресант — Текст — Адресат	Бумажный носитель	Тираж бумажных изданий
ССМК-IV Эра радио и телевидения	Адресанты — Тексты — Адресаты	Электронный носитель	Рейтинг как критерий успеха
ССМК-V Изобретение сети интернет, появление социальных сетей	Я=Мы Мы = Мы	Цифровой носитель «Карнавал» в социальных сетях	Глобализация, индивидуализация информации

Монологи героев в виде обращений к богам представлены рассказчиком «Илиады» Гомером как формы межличностного уровня коммуникации — клятва, медитация, исповедь: обращаясь к троянцам, Гектор призывал не умирать бесславно [4. С. 83], пробуждая в воинах героизм и мужество.

В текстах «Илиады» и «Ригведы» отсутствуют прямые личные авторские оценки, но широко представлены диалоги при полном отсутствии внутренней речи-монолога главных героев (коммуникативная жанровая форма личностного уровня общения). Мы наблюдаем, как жизнь рода доминирует над индивидуальностью. В этих текстах на заре зарождения устных жанровых форм сам человек еще является и носителем родовой идеологии, становится частью целого текста, который он сам и произносит. Симбиоз различных знаковых систем знаковых систем проявляется в ССМК-I и на начальном этапе ССМК-II в полном и всеобъемлющем единстве [16. С. 70].

Неудивительно, что в средние века особой ролью наделялись действия глашатая, которые задолго до изобретения печатного станка дифференцировались на официальные и неофициальные маски. Маски предсказателей, шаманов, глашатаев способствовали оповещению населения о текущих и административных распоряжениях через информационные потоки, направляемые «сверху вниз». Со временем риторы продолжили пользоваться профессиональными способами донесения информации. В современных электронных СМИ функции глашатаев в определенной мере переданы теледикторам, ведущим новостей [3. С. 40—42]. Мономаски адресантов прошлого — системообразующие элементы производства, организованные во времени, достаточно целенаправленные, на них «все держится».

По справедливому утверждению Б.Ф. Поршнева [14], зарождение классового общества постепенно привело к отчуждению творчества как действия от источника коммуникационного воздействия: в коммуникационной цепочке «Адресант — Текст — Адресат» наметился очевидный разрыв, например, в позициях ССМК-I и ССМК-IV [2. С. 51—53] (табл. 2). В XV в. в 69 западноевропейских городах — Страсбурге, Аугсбурге, Нюрнберге, Базеле, Париже и др. — успешно функционировали около 200 типографий [11. С. 111], приводя издателей к мысли о необходимости рекламировать печатную продукцию.

Намного позже с принятием в Англии в 1813 г. закона об обязательном начальном образовании, способствовавшего повышению уровня всеобщей грамотности, появились новые возможности для манипулирования аудиторией. В 1920—1930-е годы К. Гопкинс, Д. Старч, А. Нильсен и Дж. Геллап заявили о научных возможностях рекламы [21; 27. С. 5—6.], обратив внимание на очевидный выбор адресатом развлекательного контента [22. С. xii—xiii].

Вместе со становлением ССМК-III новые технологии позволяли относительно дешево производить печатную продукцию, опираясь на использование ценностей массовой культуры для достижения «узких целей» [20]. В 1934 г. 30 млн американцев смогли услышать в прямом эфире, благодаря радиотрансляции, дебаты кандидатов на пост президента США [9]. Национальный комитет граждан за образовательное телевидение» предпринял еще одну попытку поднять культурный уровень «среднего американца»: к концу 1956 г. открылись еще 26 образовательных телестанций с потенциальной аудиторией в 50 млн человек [24. С. 11—13]. Постепенно начал угасать интерес к французскому, итальянскому и английскому кинематографу, открывая новые возможности для поверхностно серьезных американских кинофильмов [23. С. 61, 68].

В 1950-е гг. устройства, позволявшие предварительно просматривать фильм (англ. — Preview Profile), предопределили судьбу кассовых кинокартин и создание прибора, позволившего зрителям голосовать (англ. — Hopkins Televoting System) [18]. А. Нильсен, придумавший так называемый «радиоиндекс Нильсена» (англ. — Nielsen Radio Index), смог заниматься сегментацией радиоаудитории. Разумеется, радиослушатели и телезрители традиционно давали высокие оценки сценам насилия, элементам мистицизма и ужаса, что позволило внести существенные коррективы в содержание голливудских рекламных киноафиш. Вместо прямолинейных текстов на афишах появились аннотации к фильмам, наполненные «жареными» фактами и сенсационными сообщениями об убийствах и насилии. В 1000 текстах, публикуемых в различных изданиях в 1935—1955 гг., проблемы секса и насилия занимали до 76% контента. Национальные и этнические стереотипы, дифференцируемые на экзотностереотипы — усеченное представление о конкретном народе, свойственное другим странам, и эндоэтностереотипы — усеченное собственное представление о своей стране, народе, личности, постепенно заполнили медийный контент. В таблице 2 приведены наиболее распространенные стереотипы и жанры, до сих пор активно используемые в массовых изданиях [17. С. 86].

Таблица 2

Наиболее распространенные стереотипы и жанры

Критерий	Классический вестерн	Научная фантастика	«Крутой» детектив	Семейное чтение
Время	1800-е гг.	Будущее	Настоящее время	Любое
Пространство	Край цивилизации	Космос	Город	Окраина
Героиня	Учительница	Астронавтка	Депрессивная девица	Мать
Преступник	Убийцы	Враждебные силы	Убийца	Сосед, босс
Другие герои	Горожане	Космический экипаж	Полицейский и преступный мир	Дети, собаки
Идея	Восстановление закона	Уничтожение врагов	Поиск убийцы	Решение проблемы
Тема	Справедливость	Торжество гуманизма	Преследование	Хаос
Одежда	Ковбойские сапоги	Костюмы High Tech	Плащ	Повседневная одежда
Средство передвижения	Лошадь	Космический корабль	Разбитая машина	Ж/д вагон
Оружие	«Кольт»	Бластер	Пистолет, кулаки	Оскорбления

Исследователь В. Паккард поддерживал идею стереотипа «морального износа», согласно которому дизайн продукции кардинально менялся раз в пять лет, мотивируя потребителей на покупку авто с обновленной датой выпуска [26]. Подобные действия напоминали функционирование первобытной коммуникации, побуждавшей к формированию максимально наглядного обозначения социальных ролей, функционировавших в качестве знаков сигнального типа для своевременного оповещения соплеменников о надвигающейся опасности.

В СССР брендинг действительности посредством СМИ в полной мере демонстрировало особый стиль подачи материалов в партийных СМИ, популяризовавших для широких слоев тексты с определенными стилистическими особенностями. Главная газета «Правда» придерживалась книжности и официоза, массовые издания предлагали материалы разговорного плана и упрощенной тематики, что оказало в дальнейшем колоссальное влияние на развитие всех ССМК.

Новые правила игры в постсоветской действительности потребовали от сотрудников СМИ новых подходов к написанию материалов, предельно и четко выражавших отношение к проблеме: образные заголовки «Коммерсанта», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца» все чаще становятся, по сути, рекламными слоганами с обилием метафор и лексики, воздействующей на адресата. Стилистические фигуры и обороты речи, синтаксические построения, используемые для усиления выразительности высказывания, позволяют достичь нужной экспрессии: «Буранный тупик...» (Куранты. 21.12.1991), «Моссовет: чужой земли не отдадим ни пяди. Но и своей вершка не отдадим» (Коммерсантъ. 1991. № 23).

Односложные заголовки нашли свое продолжение в лиде. Лидом (англ. lead — возглавлять, вести) принято называть первый абзац статьи, информативный отрывок, расположенный перед зачином для концентрации внимания адресата на про-

блеме. Он также выполняет функцию тизера (англ. *teaser* — «завлекалка») — сообщения, чаще рекламного характера, построенного как интригующая загадка с частичным раскрытием темы. На смену эвфемизмам, заменяющим любое нежелательное или недозволенное слово, приходит более корректный термин, персонифицирование коммуникативных форм (дискуссионные клубы, читательские форумы, работа с письмами). Что касается электронных носителей, то телевидение становится своеобразными часами, которые во многом диктуют распорядок жизни людей, механизмом, задающим структуру семейной жизни. Техническая коммуникация, Интернет, стали яркими субъектами ССМК-V, которая, как оказалось, еще больше усилила наметившийся ранее тренд (табл. 3 [5]).

Таблица 3

Советские (российские) и американские социальные стереотипы

Годы	СССР и Россия о США	Годы	США об СССР и России
1917—1934	Акулы капитализма	1917—1922	Анархисты с бомбой в руке
1934—1941	Инженеры	1941—1945	Сильные и добрые медведи
1941—1945	Союзники, не торопящиеся помочь	1947—1985	Жесткие чекисты с атомной бомбой
1947—1985	Поджигатели войны	1986—1991	Люди с тяжелым наследием коммунизма
1985—1998	Предприниматели, у которых все хорошо	1992—1998	Люди, которых надо научить предпринимательству, осво- бив духомно
1998—2008	Предприниматели со своими недостатками	1998—2008	Мафиози и растратчики
2008 — настоящее время	Мировая закулиса	2008 — настоящее время	Страна-агрессор

Дальнейшее развитие новых технических средств может и уже оказывает глубокое влияние на восприятие пространственно-временных измерений общественной жизни [28. Р. 22]. На смену вертикальным связям приходят горизонтальные — в созданной, по мнению М. Маклюэна, глобальной деревне, благодаря электричеству и возникшим на его основе медианосителям, общение между людьми может распространяться на любые расстояния. Он рассматривал электронные медиа как развитие человеческих возможностей, но их расширение до невероятных дистанций, вопреки ожиданиям, почти не изменили человеческие привычки. Так, люди, которые привыкли к живому общению, больше используют мобильный телефон, те же, кто предпочитает письмо, используют возможности электронной переписки, возникающие на национальном уровне при помощи современных ССМК-IV и ССМК-V.

Современная ССМК-V в полной мере отражает коммуникационные вызовы: по мнению Маклюэна, возрастание могущества электронных СМИ должно было и уже, как видим, привело к переносу родоплеменных отношений в электронные

города с особой аудиовизуальной электронной культурой. Эра Интернет усилила и закрепила эту тенденцию: «Города больше не существует, разве что в виде своеобразных призраков... Любая придорожная закусовая с телевизором, газетой и журналом космополитична ровно настолько, насколько эта характеристика применима к Нью-Йорку и Парижу. Крупный город становится сегодня нашим классом, где реклама — наш зритель... Время письма прошло. Мы должны изобрести новое определение, упорядочить наши мысли и чувства. Новые СМИ не являются мостами между человеком и природой: они есть сама природа... Никому еще не известен язык, присущий новой технокультуре; все мы оказались слепоглухонемыми в новой ситуации. Любое из приходящих на ум определений относит нас к прошлому, но не к настоящему. Мы возвращаемся назад в акустическое пространство. Мы начинаем снова руководствоваться чувствами и эмоциями подобно первобытному человеку, от которого нас отделяет 3000 лет грамотности» [25. С. 105].

С функционированием ССМК-II и III естественные коммуникации, утратив свое изначальное предназначение, уступили место избранным — владельцам медиахолдингов. Обнародованные в 1984 г. данные показали взаимосвязь между снижением общего интеллектуального уровня аудитории и увеличением потребления телеконтента: за неполные 20 лет использование лексики из периодики снизилось с 33% до 21%, а заимствований в разговорной речи из радио- и телеконтента выросло с 67% до 79% [19. С. 105]. За прошедшие десятилетия аудитория стала более пассивным участником коммуникационного процесса из-за усиливающегося отчуждения адресата от адресанта. При этом роль печатных СМИ в России все еще чрезвычайно — в стране и в мире пресса пока остается вторым информационным ресурсом после телевидения (рис. 1): общее медиапотребление граждан России (16+) составляет 8,5 часов в сутки, в том числе чтение книг — 10 минут, газет — 8, журналов — 6.

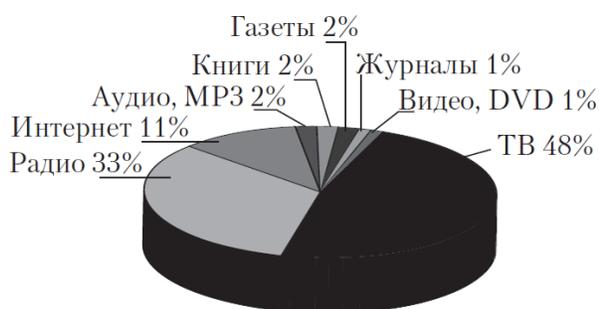


Рис. 1. Пресса и книги в структуре медиапотребления россиян [15. С. 8]

С 2004 г. число газетных киосков в России уменьшилось на треть — с 42 тысяч до 28,9 тысяч единиц, в результате чего печатные СМИ лишились около 60% рекламного рынка. Если в странах Европейского Союза один киоск прессы в среднем приходится на 1000 человек (в Чехии, Польше и Германии — на 400, 650 и 700 человек соответственно), то в Москве этот показатель меньше в 3 раза,

в Санкт-Петербурге — в 4 раза, а по России в целом — в 5 раз. После отмены государственной дотации доставки подписных изданий российские тиражи в 2014 г. снизились на 20,2%, а в начале первого полугодия 2015 г. — уже на 22% [15].

Зарубежные рынки, реагируя на формирующиеся тренды, показали рост продаж электронных книг, составивший в США около 8%. На Европу приходилось 10% общемировых продаж электронных книг [7]. Продажи в 2015 г. составили около 3 млрд долл. при стоимости бестселлера в США от 25 до 40 долларов, тогда как большинство электронных книг доступны в пределах 10 долларов. Таким образом, цена становится основным фактором приобретения электронных книг [8]. Ритейлер Barnes&Noble, владеющий в США 700 магазинами, выпустил в конце 2009 г. собственную платформу для чтения электронных книг Nook, продав при этом 2 млн книг. Доля этого ритейлера на американском рынке электронных изданий — 25%, что в два раза больше доли компании в сегменте традиционных книг.

Что касается России, то к 2010 г. книжный рынок показал колоссальное падение до 56,3 млрд с 62,3 млрд рублей годом ранее [12]. При этом электронные продажи начали развиваться в России издательства «Эксмо» (через интернет-проект «Литрес») и «АСТ» (продвигая продукцию дочерней компании «Аудиокнига» через интернет-магазин Elkniga.ru). В настоящее время средний посетитель сайта заходит на него от двух до пяти раз в месяц, прочитывая ежемесячно 25 новостей. Поэтому если в таких небольших странах, как Словакия, все 20 национальных изданий успешно перешли на платную подписку, то в странах с огромным количеством газет такая модель себя не оправдывает.

Как отмечают зарубежные эксперты медийного рынка, и с этим трудно спорить, поколение, начавшее читать интернет-издания, — «потеряно» для бизнеса печатных изданий.

Если бизнес рассуждает о «потерянном поколении», то в медиакомпаниях считают, что современное поколение — переходное, так как оно все еще читает и проявляет огромный интерес к политике, а благодаря своей социальной активности мотивировано на приобретение нового продукта. Соответственно, в ССМК-V стратегия развития российской периодики на ближайшее время определяется как усилением конкуренции традиционным СМИ со стороны корпоративных медиа, так и переходом СМИ в узкую специализацию. В социальных сетях уже проводят большую часть своего времени свыше трети российских интернет-пользователей. Так называемое поколение Y [13] по сравнению со своими предшественниками на порядок лучше приспосабливается к технологическим новинкам, а Интернет для них является главным источником информации. Только после изучения веб-сайтов банков и других финансовых учреждений потребители данного поколения заходят на финансовые порталы (32%) и ресурсы (40%). Представители поколения Y активно управляют своими банковскими счетами с помощью сети Интернет: 73% в возрастной группе 18—24 лет и 82% в группе 25—34-летних проверяют баланс своего счета (96% и 98%), историю операций (93% и 96%), оплату счетов (93% и 92%) и пополняют баланс телефона (50% и 58%) [6].

Аудитория печатной прессы постепенно переходит от постоянного чтения одного-двух массовых СМИ к изучению большого количества узкоспециализированных изданий. И на телевидении прослеживается тенденция снижения доли основных телеканалов в рекламных бюджетах на фоне возрастания доли специализированных сетевых каналов — все больше людей хотят объяснений, а не просто быстрой информации. При этом продолжается перемещение рекламных бюджетов на мобильные платформы — планшет и смартфон становятся атрибутами формирующейся медиаэкологии, постепенно исключаяющей телевидение. Аудитория никуда не исчезает, она просто распределяется в рамках зарекомендованных продуктов и требует новых способов оперативного доступа к информации. Лояльная группа постоянных читателей электронных изданий растет прямо пропорционально появлению на рынке более дешевых и современных мобильных устройств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
- [2] *Буданцев Ю.П.* Очерки ноокоммуникологии. Массовая коммуникация и ноосфера. М., 1995.
- [3] *Буданцев Ю.П.* Теория и практика журналистики и массовых информационных процессов. М., 1993.
- [4] *Гомер.* Илиада // URL: <http://xwap.me/books/769/Iliada.html?p=83>.
- [5] *Андерсон Р., Шихирев П.* «Акулы» и «дельфины». Психология и этика российско-американского делового партнерства. М., 1990.
- [6] Данные компании Gemius.
- [7] Данные компании Futuresource Consulting.
- [8] Данные компании Consumer Centric Consulting и «Почты России».
- [9] *Коломиец В.П.* Медиасоциология: теория и практика. М., 2014.
- [10] *Люблинский В.С.* На заре книгопечатания. Л., 1959.
- [11] *Морозова Е.* «Топ-книга» ушла с долгами // *Ведомости*. 17.09.2013.
- [12] *Поршнев Б.Ф.* Контрсуггестия и история. История и психология. М., 1971.
- [13] Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. М., 2015.
- [14] *Топоров В.Н.* О ритуале. Введение в проблематику // *Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках*. М., 1988.
- [15] *Berger A.A.* Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics. N.Y., 1984.
- [16] *Boorstin D.G.* Advertising and America Civilization. In *Advertising and Society*. Y. Brozen (ed.). N.Y., 1974.
- [17] *Chronicle of America*. N.Y., 1995.
- [18] *DeVito J.A.* Messages. Building Interpersonal Communications Skills. N.Y., 1990.
- [19] *Greenberg C.* Avant-Garde and Kitsch. *Partisan Review*. 1939. Fall.
- [20] *Hopkins C.* Scientific Advertising. Irwin, 1966.
- [21] *Hughes N.M.* Introduction to News and the Human Interest Story. Chicago, 1940.
- [22] *Mass Culture in America: Another Point of View*. *Saturday Review*. 1956. Vol. 39.
- [23] *McLuhan M.* Verbi-Voco-Visual Explorations. N.Y., 1967.
- [24] *Packard V.* The Hidden Persuaders. N.Y., 1957.
- [25] *Popular Writing in America. The interaction of Style and Audience*. D. McQuade, R. Atwan (eds.). N.Y., 1974.
- [26] *Pouline K.* Movie, the Desperate Art. N.Y., 1956.
- [27] *Thompson B.J.* The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambridge, 1995.

SOCIAL MECHANISMS OF MEDIA INSTITUTIONS: THE GENESIS OF RECIPIENT'S PREFERENCES*

V.L. Mouzykant

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russian Federation
(e-mail: vmouzyka@mail.ru)

Abstract. Within the framework of sociology of media the author explains the behavior of target audiences in the nowadays media environment, analyzes the changing nature of the relationship between the sender and the recipient of the message. The article considers the social mechanisms of the contemporary media institutions and changes in media consumption preferences of different social strata under the growing influence of communication technologies. The author believes that the digitalization determines the audience's need for explanation instead of just information. The virtual reality as a new communication platform becomes a common practice, and the audience becomes its passive participant demanding new ways of real-time access to information. The print media audience is gradually moving from constant reading of one or two mass editions to the study of a large number of specialized media. There is the same trend of the declining share of main television channels in advertising budgets due to the increasing share of specialized network channels. At the same time, advertising budgets are transferred to the mobile platforms for there is a growing need in 'big data' in real time due to the fast development of mobile electronic devices. Tablets and smartphones are attributes of the emerging media ecology that are gradually replacing television for digital generations prefer to watch the same TV content 'outside' the traditional TV environment.

Key words: sociology of media; media environment; electronic media; media content; media institutions; social stereotypes; tribalization; specialized editions

REFERENCES

- [1] Bakhtin M.M. *Tvorchestvo Fransua Rabelais i narodnaja kultura srednevekovja i Renessansa* [Works of Francois Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow; 1990 (In Russ).
- [2] Budantsev Ju.P. *Očerki nookommunikologii. Massovaja komunikacija i noosfera* [Essays on Communicationology. Mass Communication and Noosphere]. Moscow; 1995 (In Russ).
- [3] Budantsev Ju.P. *Teorija i praktika zhurnalistiki i massovyh informacionnyh processov* [Theory and Practice of Journalism and Mass Information Processes]. Moscow; 1993 (In Russ).
- [4] Homer. *Iliad*. Available from: <http://xwap.me/books/769/Iliada.html?p=83> (In Russ).
- [5] Anderson R., Shihirev P. "Akuly" i "delfiny". *Psihologija i etika rossijsko-amerikanskogo delovogo partnerstva* ["Sharks" and "Dolphins"; Psychology and Ethics of Russian-American Business Partnership]. Moscow; 1990 (In Russ).
- [6] Dannye kompanii Gemius [Data of company "Gemius"].
- [7] Dannye kompanii Futuresource Consulting [Data of company "Futuresource Consulting"].
- [8] Dannye kompanii Consumer Centric Consulting i «Pochty Rossii» [Data of companies "Consumer Centric Consulting" and "Post of Russia"].
- [9] Kolomiets V.P. *Mediasociologija: teorija i pratika* [Mediasociology: Theory and Practice]. Moscow; 2014 (In Russ).
- [10] Ljublinskij V.S. *Na zare knigopechatanija* [At the Dawn of Printing]. Leningrad; 1959 (In Russ).
- [11] Morozova E. "Top-kniga" ushla s dolgami ["Top-book" left with debts]. *Vedomosti*. 2013 Sept. 17 (In Russ).

* © V.L. Mouzykant, 2016.

- [12] Porshnev B.F. *Kontrsuggestija i istorija. Istorija i psihologija* [Contrsuggestion and History. History and Psychology]. Moscow; 1971 (In Russ).
- [13] *Rossijskaja periodičeskaja pechat'. Sostojanie, tendentsii i perspektivy razvitija* [Russian Periodicals. Status, Trends, and Prospects for the Development]. Moscow; 2015 (In Russ).
- [14] Toporov V.N. O rituale. Vvedenie v problematiku [On the ritual. An introduction]. *Arhaicheskij ritual v fol'klornyh i ranneliteraturnyh pamjatnikah*. Moscow; 1988 (In Russ).
- [15] Berger A.A. *Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics*. N.Y.; 1984.
- [16] Boorstin D.G. *Advertising and America Civilization. In Advertising and Society*. Y. Brozen (Ed.). N.Y.; 1974.
- [17] *Chronicle of America*. N.Y.; 1995.
- [18] DeVito J.A. *Messages. Building Interpersonal Communications Skills*. N.Y.; 1990.
- [19] Greenberg C. *Avant-Garde and Kitsch. Partisan Review*. 1939. Fall.
- [20] Hopkins C. *Scientific Advertising*. Irwin; 1966.
- [21] Hughes N.M. *Introduction to News and the Human Interest Story*. Chicago; 1940.
- [22] Mass Culture in America: Another Point of View. *Saturday Review*. 1956;(39).
- [23] McLuhan M. *Verbi-Voco-Visual Explorations*. N.Y.; 1967.
- [24] Packard V. *The Hidden Persuaders*. N.Y.; 1957.
- [25] McQuade D., Atwan R. (Eds.). *Popular Writing in America. The interaction of Style and Audience*. N.Y.; 1974.
- [26] Poulain K. *Movie, the Desperate Art*. N.Y.; 1956.
- [27] Thompson B.J. *The Media and Modernity: A Social Theory of the Media*. Cambridge; 1995.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-83-95

КОРПОРАТИВНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА ТРУДА ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА*

А.С. Огородов¹, С.Ю. Саранчук², Н.Г. Чевтаева³

¹Уральский институт управления,
ул. 8 Марта, 66, Екатеринбург, 620144, Россия
(e-mail: esm66@yandex.ru)

²Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»,
Восточное шоссе, 29, Нижний Тагил, 622007, Россия
(e-mail: saranchuk@uvz.ru)

³Уральский институт управления,
ул. 8 Марта, 66, Екатеринбург, 620144, Россия
(e-mail: natalya.chevtaeva@ui.ranepa.ru)

В статье исследуется феномен корпоративности, который в ситуации неблагоприятной внешней среды может быть использован профессиональным сообществом для повышения эффективности деятельности организации. Авторы исходят из того, что корпоративность профессионального сообщества формируется на основе однородности интересов, установок, нравов, традиций и ценностей. В работе представлена социологическая интерпретация феномена корпоративной сплоченности: выделены ее организационные и поведенческие параметры. Организационные параметры включают в себя восприятие степени надежности компании и уверенность персонала в завтрашнем дне, удовлетворенность материальным положением (статические характеристики), а также восприятие инновационности кампании, готовность персонала к развитию (динамические характеристики). К поведенческим параметрам отнесены ценности и паттерны поведения персонала, консолидирующие профессиональное сообщество. Для анализа корпоративности значимы не столько управленческая вертикаль, сколько горизонтальные социальные связи: соблюдение законности и честности по отношению к сотрудникам; восприятие респондентами сплоченности коллектива в ситуации нестабильности внешней среды. Выборка исследования, проведенного летом 2015 г., формировалась с учетом представленности разных населенных пунктов Свердловской области: моногорода и монопоселения (Нижний Тагил, Серов), города и поселения с дифференцированной экономической деятельностью предприятий (Екатеринбург, Ирбит). Результаты анализа корпоративной сплоченности в разных профессиональных сообществах — работников промышленных предприятий, социальной сферы, бизнес-структур и индивидуальных предпринимателей, органов власти — позволили выявить внутренние ресурсы, которые могут быть задействованы для снижения напряженности на рынке труда. Материалы исследования могут быть использованы при сравнительном анализе феномена корпоративной сплоченности в разных регионах Российской Федерации (не только индустриально развитых, т.е. сходных с Уральским регионом, но и отличающихся от него по ряду существенных социальных и экономических параметров).

Ключевые слова: корпоративность; группы интересов; социальные связи; неполная занятость; риски; удовлетворенность работников; патерналистские настроения; образцы поведения

В современной ситуации напряженности на рынке труда важно анализировать не только внешние угрозы, но и внутренние ресурсы, которые могут использо-

* © Огородов А.С., Саранчук С.Ю., Чевтаева Н.Г., 2016.

зовать представители профессионального сообщества для стабилизации положения организации. Неблагоприятные факторы внешней среды, кризисные тенденции в экономике оказывают влияние на ситуацию рынка труда крупного промышленного региона — Свердловской области. Анализ данных, представленных Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области, позволяет зафиксировать нарастание ситуации напряженности на рынке труда по следующим параметрам: увеличивается уровень регистрируемой безработицы (с 1,18% на 01.01.2014 до 1,36% на 12.03.2015), растет коэффициент напряженности на рынке труда (с 0,9% до 1,2%), неуклонно растет число предприятий, использующих неполную занятость персонала (с 58 предприятий — 7 712 человек на 01.01.2014 до 118 предприятий — 21836 человек на 12.03.2015).

Поэтому актуальной задачей становится не только выявление условий и факторов, способствующих стабилизации ситуации, но и анализ внутренних ресурсов, которые может задействовать профессиональное сообщество для снижения напряженности на рынке труда. Органы власти предпринимают ряд антикризисных мер, призванных стабилизировать ситуацию. В литературе исследуются поведенческие стратегии субъектов профессионального сообщества в ситуации напряженности на рынке труда. Руководство компаний в условиях сокращения рентабельности стремится «разделять» риски с работниками, используя механизмы количественной (сокращение численности работников), ценовой (снижение заработной платы) и временной (уменьшение рабочего времени) подстройки [5]. Рядовые сотрудники, используя различные поведенческие стратегии, стремятся сохранить свое положение на рынке труда [3. С. 3—12; 6. С. 122—133].

В условиях нестабильности внешней среды фактор *корпоративной сплоченности* традиционно использовался для повышения эффективности деятельности профессионального сообщества. Анализ этого управленческого феномена заложен в исследовании становления «корпорации».

Каждая историческая эпоха закрепляла за понятием «корпорация» особые качества, фиксирующие некие основания для «corporation» — объединения. Первоосновой корпоративного объединения становится общность профессиональной деятельности (корпорация кожевников, суконщиков, золотых дел мастеров и пр.). Корпорацию скрепляет обязательная для членов профессионального сообщества регламентация деятельности: уставы, кодексы, формализованные или закрепленные в традициях образцы, паттерны поведения. Широкое распространение корпорации получили в эпоху средневековья, когда профессиональное сообщество не только давало своим членам занятие, обеспечивала им материальное существование, но и гарантировала соблюдение определенного образа жизни, навязывала модели поведения, ценности, взгляды. Доминирование установленных ценностей, приобретающих статус закона, позволяет корпоративному сообществу формировать определенный тип личности, которая «призвана» выполнять свои роли и задачи. Само слово «свобода» означало для средневекового человека не независимость, а привилегию включенности в какую-то систему, «справедливое место перед богом и перед людьми». Идея «призвания» много позже ляжет в основу ставшей классической работы М. Вебера «Политика как призвание и профессия» [1]. Управленческий феномен корпоративности приобретает новые черты по мере развития и усложнения института корпораций.

В современной литературе наблюдается двойственность в понимании корпорации. В узком понимании «корпорация» предстает как организация, основанная на объединении капитала, осуществляющая какую-либо деятельность и признанная юридическим лицом [4]. В широком смысле корпорация рассматривается не только как экономический организм или производственно-хозяйственная форма [7. С. 3], но и как своего рода общественная микромодель, повторяющая основные черты более крупных общественных структур, а возможно, и всего общества. Это современная социально-экономическая система, предполагающая демократию и самоуправление, развитие всех форм собственности, отношений и кооперации, совместимость интересов [10]. По-видимому, именно эти особенности корпоративных отношений имел в виду российский мыслитель, государствовед и общественный деятель И.А. Ильин, указывавший, что корпоративная жизнь превращает своекорыстные цели членов корпорации в общественное дело [2. С. 437].

Анализ феномена корпоративной сплоченности базируется на «широком понимании» корпорации. Корпоративность формирует новую общность, объединяющуюся не только на основе материальной выгоды, но и посредством однородности доминирующих в группе интересов, установок, нравов, традиций и ценностей. Если средневековая корпоративная сплоченность базировалась на жестком требовании к членам профессионального сообщества следовать нормам и образцам поведения, то современная корпоративность все больше приходит к необходимости согласования групп интересов. Проблематика согласования интересов, выработка согласованных моделей поведения становится центральной в анализе оснований корпоративной сплоченности [9. С. 190—194]. Корпоративность, таким образом, становится системным качеством, которое интегрирует отдельные элементы в целое, она приобретает в жизни профессионального сообщества ролевой эффект, становясь организующим началом и устойчивым элементом управления. Корпоративность возникает, укрепляется, приобретает устойчивость и статус и, наконец, становится для участников профессионального сообщества средством (или инструментом) эффективного взаимодействия.

В рамках статьи представлены основные результаты социологического анализа фактора корпоративной сплоченности профессионального сообщества в условиях изменений на рынке труда крупного промышленного региона — Свердловской области. Исследование проводилось Уральским институтом управления — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Департамента по труду и занятости населения Свердловской области под научным руководством Н.Г. Чевтаевой с участием авторов в июне 2015 г. методом анкетного опроса.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Социологическая интерпретация корпоративной сплоченности профессионального сообщества представлена следующими параметрами:

А) организационные основания корпоративной сплоченности

Авторы исходят из того, что корпоративность воспринимается в качестве определенного типа социальной интеграции, как организующее начало профессио-

нальной общности. Выделяются статические и динамические основания корпоративной сплоченности. В качестве статических характеристик представлены восприятия респондентами степени надежности компании и уверенности персонала в завтрашнем дне, удовлетворенности материальным положением. К динамическим характеристикам, способным консолидировать профессиональное сообщество, были отнесены восприятие респондентами инновационности компании, готовности персонала к развитию. Корпоративность оказывается средством скрепления людей, где важна не столько управленческая вертикаль, сколько горизонтальные социальные связи: соблюдение законности и честности по отношению к сотрудникам; восприятие респондентами сплоченности коллектива в ситуации нестабильности внешней среды.

Б) поведенческие основания корпоративной сплоченности

Ценности и паттерны поведения персонала, консолидирующие профессиональное сообщество: образцы поведения, интересы, которые, по мнению респондентов, помогают работнику сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений.

Выборка исследования формировалась с учетом: представленности различных типов населенных пунктов Свердловской области: моногорода и монопоселения (монопрофильные населенные пункты): г. Нижний Тагил (400 респондентов), г. Серов (360 респондентов), г. Верхняя Пышма (100 респондентов), г. Качканар (150 респондентов), г. Каменск-Уральский (300 респондентов); города и поселения с дифференцированной экономической деятельностью предприятий, расположенных на территории муниципального образования: г. Екатеринбург (1100 респондентов), г. Ирбит и Ирбитское муниципальное образование (310 респондентов), г. Березовский (140 респондентов); иные поселения: г. Кировград (60 респондентов), г. Арамилы (80 респондентов). Итого — 3000 респондентов.

Опрос проводился по месту жительства и работы респондентов. Среди экономически активного населения: на промышленных предприятиях Свердловской области (1112 респондентов — 37,1%), работников социальной сферы (425 респондентов — 14,2%), органов государственной власти и местного самоуправления (310 респондентов — 10,3%), бизнес-структур (индивидуальных предпринимателей — 137 респондентов — 4,6% и работников бизнес-структур — 284 респондента — 9,5%). Иная категория респондентов составила 24,3%, среди них: 7,8% — студенты, 7,3% — пенсионеры, 2,3% — работники сельского хозяйства, 4,6% — безработные, 1,6% — офицеры вооруженных сил, 0,7% — домохозяйки.

Характеристика социально-профессионального статуса респондентов.

Среди занятых на рынке труда опрошены работники, занимающие разный статус в организации: руководители (заместители руководителей организации) — 5,3%, каждый пятый — руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, остальные — рядовые сотрудники, не имеющие подчиненных.

При определении возрастных характеристик респондентов акцент был сделан на экономически активном населении, занятом на рынке труда. Возрастная категория респондентов от 18 до 30 лет составила 28,5%, четверть всех респондентов — от 30 до 39 лет, 28,1% — от 40 до 49 лет, 17% составили люди старшей возрастной группы — от 50 лет и старше.

Среди опрошенных жителей Свердловской области преобладают высокообразованные люди: практически половина респондентов — люди с высшим образованием, еще 13,6% получают его в настоящее время, а 5,5% не ограничились получением высшего образования и продолжили его, закончив магистратуру или аспирантуру. Практически каждый четвертый респондент получил среднее специальное образование, а 5,6% — общее среднее. Полученное образование позволяет респондентам высказывать профессиональные суждения и оценки о ситуации на рынке труда.

Среди респондентов 16,1% малообеспеченные, которым «денег не хватает даже на продукты питания». Чуть более половины (59%) люди среднего достатка — «денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, но на более крупные покупки приходится откладывать», пятая часть (18,7%) чуть выше среднего по уровню дохода, когда «покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает трудностей» и только 2,1% обеспеченных людей, им «денег достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать».

Характеристика социально-профессионального статуса респондентов позволяет представить спектр мнений основных социально-профессиональных групп экономически активного населения Свердловской области.

Результаты исследования. Для анализа феномена корпоративной сплоченности выяснялось восприятие респондентами организующих начал профессиональной интеграции: статические и динамические факторы, мотивирующие как работодателей к сохранению трудового коллектива, так и работников к проявлению лояльности организации в ситуации нестабильности на рынке труда. Респондентов попросили оценить по 5-балльной шкале степень их удовлетворенности работой в организации по заданным параметрам (табл. 1). Результаты проведенного исследования позволили выявить организационные основания корпоративной сплоченности.

Таблица 1

**Организационные основания корпоративной сплоченности:
степень удовлетворенности сотрудников**

Оценки	Баллы	Статические основания корпоративной сплоченности		Динамические основания корпоративной сплоченности		Характеристика горизонтальных социальных связей	
		степень удовлетворенности сотрудников:					
		надежность компании	удовлетворенность уровнем оплаты труда	инновационность компании	перспективы профессионального развития	соблюдение законности и честности по отношению к сотрудникам	сплоченность коллектива
Негативные оценки	1	19.4	28.8	32.1	26.8	16.7	15.9
	2						
Удовлетворительные оценки	3	24.4	31	25	28.1	23.7	26.8
Положительные оценки	4	44.3	27.2	28.3	31.5	46.4	43.5
	5						
Нет ответа		11.9	13	14.5	13.6	13.2	13.8

Статические основания корпоративной сплоченности: восприятие респондентами степени надежности компании и уверенности персонала в завтрашнем дне, удовлетворенность персонала уровнем оплаты труда.

В оценке уровня надежности своей организации, мнения респондентов разделились: чуть менее половины (44,3%) положительно оценивают стабильность положения своего работодателя, четверть опрошенных остановились на удовлетворительной оценке, пятая часть настроена негативно, признавая, что не уверены в завтрашнем дне.

Насколько ощущение надежности своего работодателя зависит от удовлетворенности респондентов уровнем оплаты труда? Прямой зависимости между двумя этими факторами не выявлено. Данные, представленные в таблице 1, показывают, что четверть респондентов не удовлетворены системой материального стимулирования (1—2 баллов), аналогичные оценки уровня надежности выставила только пятая часть опрошенных. Если позитивно воспринимающих свое материальное положение — четверть от всех опрошенных, то оптимистов, считающих свою компанию «надежной», много больше — около половины респондентов (44,3%).

В рамках проведенного исследования *к динамическим основаниям корпоративной сплоченности были отнесены: восприятие респондентами инновационности компании, условий для профессионального развития.* Респондентам задавался вопрос: Насколько использование современных технологий, внедрение инноваций способствует выживанию и развитию организации в ситуации нестабильности на рынке труда? Общее число негативных оценок инновационности компании превышает число позитивных (32,1% против 28,3%), каждый четвертый счел возможным выставить лишь удовлетворительные оценки.

Насколько удовлетворены опрошенные работники перспективами профессионального развития в своих организациях? Ответы респондентов демонстрируют достаточно пеструю картину. Порядка трети респондентов даже в ситуации нестабильности уверены, что в организации у них есть ясные перспективы профессионального роста. Четверть не видит никаких перспектив (26,8%), и еще практически четверть (28,1%) остановились на удовлетворительной оценке своих перспектив.

Характеристика горизонтальных социальных связей как оснований корпоративной сплоченности: образцы поведения, ценности, которые, по мнению респондентов, помогают сотрудникам сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений; оценка степени сплоченности коллектива.

Важным индикатором корпоративной сплоченности оказывается готовность всего профессионального сообщества следовать установленным правилам и нормам. Обязательность правил, соблюдение трудового законодательства и этических ценностей во взаимоотношениях руководства и сотрудников является нормой в большинстве организаций (46,4% положительных оценок против 40,4% отрицательных и удовлетворительных). В то же время наличие доли негативных оценок (16,7%) свидетельствует о наличии проблемы с соблюдением норм трудового законодательства в трудовых коллективах Свердловской области.

Анализ восприятия респондентами степени сплоченности своего коллектива показывает, что угрозы конфронтации внутри коллектива не диагностируется: около половины (43,5%) положительных оценок, четверть (26,8%) удовлетворены существующей ситуацией и только около 16% не уверены в поддержке своего коллектива.

Анализ оснований организационной корпоративной сплоченности позволил сделать следующие *выводы*: среди респондентов доминирует позитивный настрой в оценках степени надежности компании (44,3%). При этом достижение стабильности респонденты связывают прежде всего с соблюдением работодателем гарантий, предусмотренных трудовым кодексом (степень соблюдения законности и честности по отношению к сотрудникам) и также со сплоченностью коллектива. В меньшей степени устойчивость положения коррелируется с условиями для профессионального развития сотрудников (31,5%), с инновационной политикой компании (28,3%), надеждой на достойное вознаграждение по труду (27,2%). Очевидно, подобные настроения объясняют распространенность антикризисной практики поочередного перевода сотрудников на неполную занятость, вне зависимости от производительности их труда («что бы никому не обидно было»).

Такое понимание социальной справедливости, патерналистские настроения оказались достаточно сильны в нынешней ситуации напряженности на рынке труда. Надежды сохранить свое предприятие за счет внедрения инноваций, вложений в развитие персонала, усиления дифференциации в оплате труда в зависимости от результативности деятельности сотрудника выражены гораздо слабее.

Насколько выявленные тенденции присущи разным профессиональным группам? Для проведения корреляционного анализа согласно выборке были выделены основные профессиональные сообщества, составляющие основу экономически активного населения Свердловской области: работники промышленных предприятий, социальной сферы (образования, здравоохранения), органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-структур, включая индивидуальных предпринимателей.

Результаты корреляционного анализа: оценка организационных оснований корпоративной сплоченности в разных профессиональных сообществах (рис. 1).

Большая стабильность наблюдается в настроениях работников органов власти, социальной сферы и промышленных предприятий (порядка 50% положительных ответов — 4,5 баллов). Среди индивидуальных предпринимателей только треть выражают уверенность в завтрашнем дне. Очевидно, что заявления государства о поддержке бизнеса и предпринимательства не стали реальной управленческой практикой для большинства предпринимателей. Каждый третий индивидуальный предприниматель и каждый пятый работник бизнес-структур негативно оценивает уровень надежности своей компании в ситуации нестабильности на рынке труда. Наиболее уязвимыми в сегодняшней ситуации напряженности на рынке труда чувствуют себя представители бизнес-сообщества.

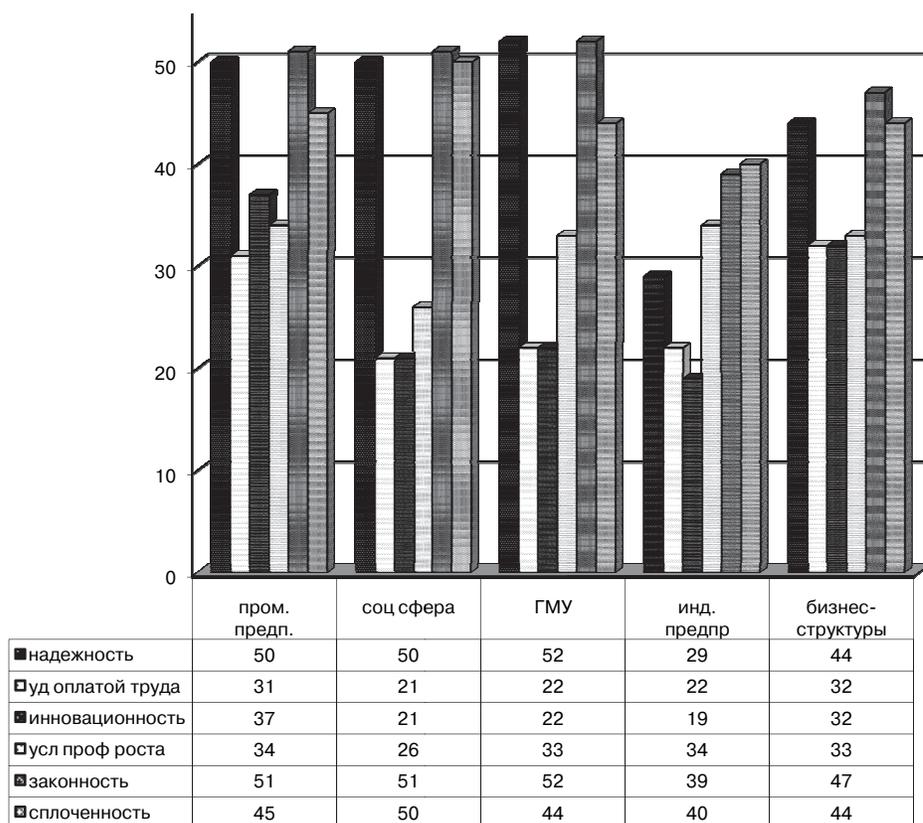


Рис. 1. Организационные основания корпоративной сплоченности в разных профессиональных сообществах: положительные оценки (в%)

Во всех профессиональных сообществах наблюдается в целом невысокий уровень удовлетворенности оплатой труда. На этом фоне налицо относительное благополучие работников промышленных предприятий и бизнес-структур (около трети положительных оценок в каждой группе). В то же время, как показал предшествующий анализ, бизнесмены не принадлежат к числу тех, кто уверен в надежности и стабильности своей компании в ситуации напряженности на рынке труда. Только четверть работников социальной сферы и органов власти выразили удовлетворенность своим материальным положением.

Как работники разных профессиональных сфер оценивают уровень инновационности своих организаций? Интенсивность и перспективы внедрения инноваций в работе своих организаций респондентам представляются достаточно скромными во всех профессиональных группах, явных лидеров не выявлено. В то же время, можно заметить, что внедрение инноваций менее заметно для работников социальной сферы, государственных (муниципальных) служащих, индивидуальных предпринимателей (порядка 20% положительных оценок). В качестве позитивной тенденции можно отметить тот факт, что треть работников промышленного сектора Свердловской области и бизнеса позитивно оценивают политику своих организаций на инновационное развитие.

Корреляционный анализ ответов респондентов о перспективах профессионального развития в разных профессиональных группах показывает, что позитивный настрой чаще встречается среди работников промышленных предприятий, бизнес-структур и индивидуальных предпринимателей, государственных и муниципальных служащих (треть дают положительные оценки). На этом фоне оценки работников социальной сферы несколько скромнее: лишь четверть сочла, что организация предоставляет возможность для их профессионального роста.

Оценка «соблюдения законности и честности по отношению к сотрудникам» в разных профессиональных группах показывает, что более точное соблюдение «правил игры» свойственно социальной сфере, системе государственного (муниципального) управления, промышленным предприятиям области (чуть более половины положительных оценок в каждой группе). Сфера индивидуального предпринимательства и бизнеса лидирует по числу более скромных «удовлетворительных» оценок степени соблюдения законности в организациях. Заметим, что число неудовлетворенных соблюдением законности и честности по отношению к сотрудникам в каждой группе составило от 12% (среди работников органов власти) до 19% среди индивидуальных предпринимателей.

Достаточно ровной предстает картина восприятия респондентами степени сплоченности коллектива: положительные оценки доминируют в каждом профессиональном сообществе. Тем не менее заметим, что в социальной сфере наблюдается «компенсаторный эффект»: самый низкий уровень удовлетворенности оплатой труда, компенсируется самым высоким уровнем сплоченности коллектива. Схожая ситуация наблюдается и в системе государственного и муниципального управления: положительные оценки «сплоченности коллектива» в два раза превышают «удовлетворенность оплатой труда» (44% и 22% соответственно). Можно предположить, что, несмотря на введение практики оценки по результатам, «эффективного контракта», трудовые установки по принципу «всем сестрам — по серьгам» остаются достаточно распространенными в этих профессиональных сферах, обеспечивая сплоченность коллектива.

Анализ организационных оснований корпоративной сплоченности — степени удовлетворенности работников условиями труда — необходимо дополнить исследованием внутренних факторов, связанных с поведением работников. Для анализа поведенческих оснований корпоративной сплоченности респондентам было предложено ответить на вопрос: «Что, на ваш взгляд, помогает работнику сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений?» (табл. 2).

Таблица 2

Поведенческие основания корпоративной сплоченности

Варианты	Число респондентов	Процент опрошенных
Высокий профессионализм	1 257	41,9
Хорошие отношения с руководством, его поддержка	846	28,2
Готовность работника учиться и развиваться	831	27,7
От работника ничего не зависит, как начальство решит, так и будет	679	22,6
Редкая профессия	591	19,7
Затруднились с ответом	161	5,4

* Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Сгруппировав варианты ответов по степени значимости для респондентов, мы выявили следующую тенденцию. Три доминирующие стратегии способствуют, по оценкам работников, сохранению стабильных позиций на рынке труда в ситуации кризиса и нестабильности. Экономически активное население Свердловской области надеется прежде всего на свой профессионализм (41,9%) и понимает значимость готовности работников к развитию, умения учиться и развиваться (27,7%). Примечательно, что условия для профессионального развития в своих организациях («перспективы профессионального развития», табл. 1) респонденты оценивают даже выше, чем внутреннюю готовность сотрудников к развитию (31,5% против 27,7%).

Качество внутренней вертикальной коммуникации — «хорошие отношения с руководством, его поддержка», по мнению 28,2% респондентов, также помогает работнику сохранить работу. Каждый пятый считает, что обладатели редкой профессии имеют больше шансов занять привлекательные позиции на рынке труда. Сторонники активной поведенческой стратегии уточняют (как было выяснено при анализе открытых вопросов), что эффективно работающие сотрудники, которые «выполняют вовремя все поручения руководства», «лояльны, любят свою работу», «умеют поддерживать хороший климат в коллективе», имеют больше шансов сохранить рабочее место. Наряду с работниками, придерживающимися активной поведенческой стратегии, выявилась и группа, занимающая пассивно-выжидательную позицию (22,6%), которые убеждены, что «от работника ничего не зависит, как начальство решит, так и будет».

Анализ ответов на открытый вариант вопроса выявил пессимистов, которые уверены, что все решает «близость к начальству», «родственные связи» и даже «подкуп руководства». Прозвучали и такие суждения: «крупный устойчивый работодатель», «стабильная компания» сумеют уберечь своих работников от угрозы сокращений. Профсоюз и трудовой кодекс также смогут защитить работника. Нашлись и фаталисты, которые верят в помощь бога и надеются на везение.

Проведенный корреляционный анализ ответов респондентов разных социально-профессиональных сообществ позволил конкретизировать выявленные тенденции (табл. 3).

Таблица 3

**Поведенческие основания корпоративной сплоченности
в профессиональных сообществах (% от числа опрошенных)**

Варианты	Работник промышленного предприятия	Работник социальной сферы	Государственный (муниципальный) служащий	Индивидуальный предприниматель	Работник бизнес-структур
Высокий профессионализм	44	42.6	46.8	32	37.7
Хорошие отношения с руководством, его поддержка	29.6	33	18	22	25.4
Готовность учиться и развиваться	28.3	29.4	26.8	37.2	30
От работника ничего не зависит, как начальство решит, так и будет	25	23	24	21	20
Редкая профессия	6	15.8	10	19.7	23.2
Затрудняюсь ответить	7,6	4.2	4	2	1.4

Убеждение в том, что высокий профессионализм помогает сохранить работу в ситуации кризиса и угрозы сокращений демонстрируют представители всех профессиональных групп: при этом индивидуальные предприниматели отдают предпочтение не столько фактору наличных знаний, сколько готовности человека к развитию. Вера в то, что «хорошие отношения с руководством» помогут сохранить рабочее место, наиболее сильна среди представителей социальной сферы (образование, здравоохранение). Каждый пятый представитель бизнес-сообщества и каждый четвертый промышленного производства не верит в то, что рядовой сотрудник в состоянии как-то повлиять на сохранение своего рабочего места: все решает начальство. При этом государственные и муниципальные служащие считают, что если решение руководством принято, никакие хорошие отношения уже не спасут ситуацию (фактор «от работника ничего не зависит» оказался в этой профессиональной группе более значим, чем «хорошие отношения с руководством, его поддержка»). Уникальные профессиональные навыки («редкая профессия») могут стать гарантией занятости на рынке труда, прежде всего, в сфере бизнеса. В профессиональной деятельности работников промышленных предприятий и органов власти все большая роль отводится стандартизации, регламентации, поэтому редкие профессиональные компетенции не являются значимыми, по мнению респондентов, при угрозе сокращений.

Результаты исследования позволили выявить как *негативные* тенденции, так и точки роста в условиях расширения практики неполной занятости для стабилизации положения на рынке труда промышленного региона. Использование мер государственной поддержки, безусловно, снижает риски социальной нестабильности в регионе, муниципалитете (ощущение «надежности компании»), однако имеет и обратную сторону. В частности, корпоративная сплоченность используется профессиональным сообществом как ресурс самосохранения в ущерб ориентации на повышение конкурентоспособности и инновационное развитие организации как способ выхода из кризиса. Стремление к самосохранению в ситуации нестабильности на рынке труда порождает иждивенческие настроения у той части сотрудников, для которых перевод на неполную занятость становится в чем-то даже удобной практикой: «можно заняться домашним хозяйством», «подработкой», гарантированно получая 2/3 прежнего заработка.

Точки роста. Тем не менее, в каждом профессиональном сообществе диагностируются группы, предпочитающие использовать поведенческие стратегии, направленные на вложения в развитие своих профессиональных и коммуникационных навыков. В каждом профессиональном сообществе крупного промышленного региона Свердловской области эти ориентации оказались сильнее, чем простое ожидание мер социальной поддержки и надежды на добрую волю руководства. Именно такие тенденции обеспечивают иное основание консолидации, превращая корпоративную сплоченность в ресурс повышения эффективности деятельности профессионального сообщества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

- [2] Ильин И.А. *Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека*. В 2-х тт. СПб.: Наука, 1994.
- [3] Кармадонов О.А. *Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования*. 2015. № 2.
- [4] Кашанина Т.В. *Корпоративное право*. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.
- [5] Кокишарова В.В., Орехова С.В. *Рынок труда Свердловской области: тенденции развития и механизмы адаптации в условиях кризиса // URL: http://orekhovasv.ru/stat_4.htm*.
- [6] Курбатова М.В., Каган Е.С., Анарина Н.Ф. *Поведение работников вузов в условиях реформирования высшего профессионального образования: проблема выбора // Социологические исследования*. 2015. № 2.
- [7] Перегудов С.П. *Крупная российская корпорация как социально-политический институт*. М.: ИМЭМО РАН, 2000.
- [8] Постановление Правительства РФ от 22 января 2015 года № 35 (с изменениями и дополнениями 11 июня 2015 г.) «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда».
- [9] Чевтаева Н.Г. *Корпоративность социально-профессиональной группы российского чиновничества: социологический анализ*. Екатеринбург: УрАГС, 2006.
- [10] Brownlee J. *Ruling Canada: Corporate Cohesion and Democracy*. Fernwood Publishing Co., 2005.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-83-95

CORPORATE PROFESSIONAL UNITY UNDER THE UNSTABLE LABOR MARKET OF THE INDUSTRIAL REGION*

A.S. Ogorodov¹, S.Yu. Saranchuk², N.G. Chevtava³

¹Ural Institute of Management,
8 Marta St., 66, Ekaterinburg, 620144, Russia
(e-mail: esm66@yandex.ru)

²“Uralvagonzavod” Research and Production Corporation,
Vostochnoye Sh., 29, Nizhniy Tagil, 622007, Russia
(e-mail: saranchuk@uvz.ru)

³Ural Institute of Management,
8 Marta St., 66, Ekaterinburg, 620144, Russia
(e-mail: natalya.chevtava@ui.ranepa.ru)

Abstract. The article examines the phenomenon of corporatism, which under the adverse external environment can be used by the professional community to improve the effectiveness of organization. The authors define corporatism of the professional society as a combination of homogenous interests, attitudes, traditions and values; and provide a sociological interpretation of the corporate unity through its organizational and behavioral parameters. The former consists of the perception of the organization reliability, the staff's confidence in the future, satisfaction with the financial situation (static features), estimates of the innovative capabilities of the company, and the willingness to develop (dynamic features). The behavioral parameters include staff's values and patterns of behavior that can contribute to the consolidation of the professional community. The authors believe that for corporate management vertical social

* © A.S. Ogorodov, S.Yu. Saranchuk, N.G. Chevtava, 2016.

ties are less important than the horizontal ones, such as the rule of law and honesty, and the team unity under the unstable external environment. The sample of the study conducted by the authors in 2015 consisted of various types of settlements typical for the Sverdlovsk Region: mono-towns and mono-settlements (Nizhny Tagil, Serov), towns and villages with the differentiated economic activities (Ekaterinburg, Irbit). The results of the empirical study of corporatism among different professional societies — industrial workers, social services' and business organizations' staff, individual entrepreneurs and authorities — revealed the internal resources that can reduce tensions on the labor market. The research data can be useful for the comparative analysis of corporatism in different regions of Russia (not only industrial and similar to the Ural Region, but differing from it by significant social and economic parameters).

Key words: corporatism; groups of interests; social networks; part-time employment; risks; satisfaction of employees; paternalistic attitudes; behavioral patterns.

REFERENCES

- [1] Weber M. *Politika kak prizvanie i professija* [Politics as a vocation]. *Izbrannye proizvedeniya*. Moscow: Progress; 1990 (In Russ).
- [2] Il'in I.A. *Filosofija Gegelja kak uchenie o konkretnosti Boga i cheloveka* [Hegel's Philosophy as a Doctrine of the Concreteness of God and Man]. Sankt-Peterburg: Nauka; 1994 (In Russ).
- [3] Karmadonov O.A. *Solidarnost', integracija, konjunkcija* [Solidarity, integration, conjunction]. *Sociologicheskie issledovaniya*. 2015;(2).
- [4] Kashanina T.V. *Korporativnoe pravo* [Corporate Law]. Moscow: NORMA-INFRA; 1999 (In Russ).
- [5] Koksharova V.V., Orehova S.V. *Rynok truda Sverdlovskoj oblasti: tendencii razvitiya i mehanizmy adaptacii v uslovijah krizisa* [Labor market of the Sverdlovsk region: Development trends and mechanisms of adaptation under the crisis]. Available from: http://orekhovav.ru/stat_4.htm.
- [6] Kurbatova M.V., Kagan E.S., Aparina N.F. *Povedenie rabotnikov vuzov v uslovijah reformirovaniya vysshego professional'nogo obrazovaniya: problema vybora* [Behavior of university employees under the higher education reform: The problem of choice]. *Sociologicheskie issledovaniya*. 2015;(2) (In Russ).
- [7] Peregudov S.P. *Krupnaja rossijskaja korporacija kak social'no-politicheskij institut* [Large Russian Corporation as a Social-Political Institution]. Moscow: IMEMO RAN; 2000 (In Russ).
- [8] *Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 22 janvarja 2015 goda №35 (s izmenenijami i dopolnenijami 11 ijunja 2015 g.) "O dopolnitel'nyh meroprijatijah v sfere zanjatosti naselenija, napravlennyh na snizhenie naprjazhonnosti na rynke truda"* [The Russian Government Decree No. 35 on January 22, 2015 (amended on June 11, 2015) "On Additional Measures in the Field of Employment to Reduce Tensions on the Labor Market"] (In Russ).
- [9] Chevtaeva N.G. *Korporativnost' social'no-professional'noj grupy rossijskogo chinovnichestva: sociologicheskij analiz* [Corporationism of the Social-Professional Group of Russian Civil Servants: Sociological Analysis]. Ekaterinburg: UrAGS; 2006 (In Russ).
- [10] Brownlee J. *Ruling Canada: Corporate Cohesion and Democracy*. Fernwood Publishing Co.; 2005.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-96-105

ЮЖНЫЙ КУРДИСТАН: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ИРАКСКИХ КУРДОВ*

Хавлла Хошави Мухаммад Хавлла

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия
(e-mail: xoshawi82@yahoo.com)

В статье предпринята попытка системного анализа факторов, детерминирующих особенности протекания интеграционных процессов в автономном Иракском Курдистане. Формирование Иракского Курдистана как единой социально-политической общности основано на росте национального самосознания населения автономии, а также ускорении процесса самоопределения под влиянием ряда внешних и внутренних причин. Национальная идентичность иракских курдов как части курдского народа основана на общих исторических корнях, языке, культуре. Она зиждется на ментальном отнесении курдов к единой, «своей» группе, что, в свою очередь, объясняется не только историческими фактами, но и особым настроением, мифами, иногда оторванными от реальности, но укоренившимися в коллективных представлениях. Ключевую роль в консолидации иракских курдов, росте их национального самоопределения играет фактор внешнего давления, выражающийся как в прямой агрессии, так и в политическом принуждении к ассимиляции. Спротивление общему врагу, повстанческая деятельность укрепляют национальную идентичность иракских курдов. В статье также исследуются факторы, которые не сводятся к «общекурдским», но характерны для Иракского Курдистана. Это укрепление единой формы языка в процессе распространения его литературной формы через систему образования, литературу и средства массовой информации; усиление хозяйственно-экономических связей и развитие гражданских и политических институтов, что стало возможным благодаря приобретению Иракским Курдистаном статуса автономии. В статье определены и подвергнуты анализу объективные причины, препятствующие усилению интенсивности интеграционных процессов в общности иракских курдов. Отмеченные причины соотнесены, с одной стороны, с влиянием внешних по отношению к Иракскому Курдистану сил, в число которых входят соседние государства, транснациональные корпорации, официальные власти Багдада, а также усиливающаяся военная агрессия бандформирований террористических группировок. С другой стороны, замедление интеграционных процессов внутри Иракского Курдистана связывается с внутренними противоречиями в автономии, провоцируемыми характерными чертами социальной и политической структуры курдского общества — клановостью, незрелостью политической системы, этноконфессиональным разнообразием.

Ключевые слова: Иракский Курдистан; курды; национальное самосознание; национальная идентичность; самоопределение; автономия; клановость; Ближний Восток; политическая социология

Новый виток эскалации насилия на Ближнем Востоке, спровоцированный «арабской весной», экспансией террористической группировки ИГИЛ, активным вмешательством во внутрисударственные противоречия сторонних держав, вновь привлек внимание мировой общественности к проблеме курдов.

* © Хавлла Хошави Мухаммад Хавлла, 2016.

В современном мире большая часть курдов проживает на территории региона, называемого Курдистан. Этнический Курдистан включает в себя горные районы, заселенные преимущественно курдами и входящие в состав современных государств Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Путь курдов к обретению национального суверенитета — длительный незавершенный исторический процесс, на который влияет ряд внешних и внутренних факторов. В настоящей статье рассматриваются особенности становления автономного Иракского Курдистана, а также специфика формирования и развития национального самосознания курдов под воздействием отмеченных факторов.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Современные ученые, занимающиеся курдской проблематикой, подразделяются на два лагеря. Одни полагают, что идея единого Курдистана утопична, более того, некоторые из них убеждены, что курды — не единый народ, а политический конструкт для обозначения разных этнических групп [1]. Вторые, напротив, рассматривают курдов как крупный народ современности, не обретший собственных государственных границ, но идущий к этой цели [4]. В качестве успешного примера выдвигается Иракский Курдистан как символ (актуальный для остальных курдских сообществ) того, что путь к обретению государственности для курдов принципиально возможен, хоть и в далеком будущем. Автор придерживается второй точки зрения.

Для осмысления внешних по отношению к Иракскому Курдистану факторов, во многом определяющих его развитие, необходимо коснуться истории формирования и развития курдской нации. В рассматриваемом аспекте автора интересуют, главным образом, события, приведшие к разделению этнического Курдистана на четыре основные части — Иракский, Иранский, Сирийский и Турецкий Курдистан.

Важнейшим историческим этапом, повлиявшим на раздел этнического Курдистана между современными Турцией, Сирией, Ираком и Ираном, послужил передел населенных курдами земель между Османской империей и Персией в XVI в.

Следует отметить, что этнический Курдистан и до того момента не являлся единым монолитным образованием. Но начало современного положения курдов, с точки зрения политико-административных границ, закладывается в отмеченный период. В истории курдского вопроса появляются две внешние силы, претендующие на единоличное владение территорией и ресурсами земель, издревле заселяемых курдскими племенами. С тех пор и по настоящее время Турция и Иран активно взаимодействуют с курдскими племенами, проявляя агрессивные, либо договорные намерения, в результате чего наносится явный ущерб национальному единению курдов.

Еще одним ключевым этапом для понимания механизмов формирования национального самосознания курдов и предпосылок развития курдской государственности послужил распад Османской империи и раздел ее земель. Этнический Курдистан, расположенный на территории Османской империи, был поделен сле-

дующим образом: большая его часть отошла к Турции, южная его часть была включена в состав Ирака, мандатом над которым владела Англия, а часть Курдистана на турецко-сирийской границе отошла Сирии — французской подмандатной территории. В конце 60-х гг. XX в. Ирак был признан независимой суверенной республикой, что ускорило обретение частичной политической и экономической самостоятельности Иракским Курдистаном.

Становление Иракского Курдистана и укрепление национального самосознания курдов происходит на фоне попыток Турции, Ирана и Сирии укрепить свое влияние в стратегически важном районе. Помимо отмеченных государств интерес к курдскому региону проявляют и другие державы — Израиль, страны ЕС, США, Россия. Данный факт объясняется, с одной стороны, тем, что курдский вопрос является средством воздействия перечисленных государств на политическую ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а с другой стороны, тем, что земли, исконно занимаемые курдами, чрезвычайно богаты нефтяными ресурсами, доступ к которым необходим мировым корпорациям.

Происходящие сегодня на Ближнем Востоке события, связанные, в первую очередь, с деятельностью запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, можно выделить как еще один этап, в рамках которого происходит изменение политико-административных границ Иракского Курдистана и этнического Курдистана в целом. Помимо того, ИГИЛ посягает на курдские национальные традиции, навязывая мусульманские догмы и жестоко расправляясь с несогласными. Иракские курды, и прежде всего отряды их боевой организации Пешмерга, представляют собой существенную силу в борьбе с ИГИЛ.

Таким образом, важность территории расселения курдов с точки зрения геополитики на Ближнем Востоке, а также ресурсная обеспеченность региона провоцируют внешние силы, обозначенные выше, активно вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в этническом Курдистане в целом и в Иракском Курдистане в частности. Подобное вмешательство напрямую, а также опосредованно — через ряд внутренних факторов — сказывается на процессе формирования единой курдской нации, а также на процессе укрепления позиций автономного Иракского Курдистана.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Политический аспект. На пути к формированию собственной государственности курды Иракского Курдистана добились больших успехов в сравнении с общностями курдов, расселенными на территориях Турции, Сирии и Ирана. Курды, районы проживания которых после распада Османской империи были закреплены за подмандатным Англии Ираком, уже тогда имели возможность получать официальное образование на курдском языке. Были созданы предпосылки для укрепления их национальной идентичности на основе развития телекоммуникативных процессов — радиовещания, издания курдских книг и газет [5].

Поскольку при разделе территорий Османской империи, на которых издревле проживали курдские кланы, меньше всего учитывалось их мнение, они не спешили

ассимилироваться с народами государств, в составе которых оказались. Это касается и иракских курдов. Они вели перманентную борьбу за независимость с иракским правительством, выразившим интересы Великобритании.

Уже в 1920-е гг. в городе Иракского Курдистана Киркуке были обнаружены крупные нефтяные месторождения. Этот факт укрепил заинтересованность официальных иракских властей в курдских территориях: возобновились попытки насильственной ассимиляции курдов, их смешения с иракскими арабами. Большая часть чиновников Иракского Курдистана была представлена арабами, права курдов при поступлении в вузы и при приеме на работу ущемлялись. Сложившаяся ситуация спровоцировала новые восстания иракских курдов, возглавляемые вождями кланов.

Фактическое обретение Ираком независимости от Англии стимулировало всплеск национально-освободительного движения местных курдов. Данный период курдской истории связан с деятельностью Муллы Мустафы Барзани — легендарного для иракских курдов руководителя вооруженной борьбы за их независимость, создателя Демократической партии Курдистана (ДПК), который смог привлечь внимание мировой общественности к курдской проблеме. Именно он стоит у истоков создания автономного Иракского Курдистана. В ответ на организованное курдское сопротивление, грозящее спровоцировать распад Ирака, в 1970 г. Багдад предоставляет Курдистану автономию в рамках Иракской Республики. В немалой степени этому способствовало тесное сотрудничество ДПК с Ираном. Однако как только в 1975 г. между Ираком и Ираном было заключено мирное соглашение, иракское правительство возобновило притеснения курдов.

На фоне новых вызовов, стоявших перед курдами в связи с очередным ограничением автономии Курдистана, происходит раскол ДПК и появляется вторая ключевая политическая партия — Патриотический союз Курдистана (ПСК), которую возглавил Джаляль Талабани. Разногласия лидеров ДПК и ПСК привели к вооруженным столкновениям между сторонниками партий, длившимся почти десять лет. Фактически зона так называемого Свободного Курдистана была поделена надвое — в г. Эрбиле размещалось руководство ДПК, в г. Сулеймании — правящая ячейка ПСК. Обе партии располагали собственными органами управления, вооруженными формированиями и пытались реализовать провозглашаемый ими путь на занимаемых территориях.

Описываемый внутренний политический фактор тесно связан с фактором влияния стран-соседей на формирование курдской автономии. Иран, Турция и Сирия, опасаясь того, что успех иракских курдов в обретении ими пусть даже частичной автономии повлияет на рост сепаратистских настроений иранских, турецких и сирийских курдов, стимулировали разобщенность иракских курдов и разногласия между их лидерами — М. Барзани и Дж. Талабани. В то же время, вследствие того, что сепаратистски настроенные политические формирования иранских и турецких курдов размещали на ирано-иракской и ирако-турецкой границах свои тыловые базы, Тегеран, Анкара и Дамаск вынуждены были налаживать отношения со все более автономным Иракским Курдистаном.

Ситуация вооруженной борьбы между представителями курдских группировок, как внутри Ирака, так и на границах Иракского Курдистана с представителями

турецкой Рабочей партии Курдистана, иранскими Пейджак, Комеле и др., укоренила экстремизм как характерную черту курдской политики. Без сомнения, большинство курдов региона настроены, как минимум, на тесное и мирное сотрудничество со своими собратьями, а как максимум, на построение единого Курдистана, объединяющего всех курдов. Однако политика соседних государств часто провоцировала и продолжает провоцировать враждебные настроения между отдельными сообществами курдов.

В качестве внутреннего политического фактора, играющего значимую роль в формировании курдской автономии, следует выделить деятельность Багдада в отношении курдов. На протяжении длительного отрезка времени иракское правительство, опасаясь сепаратистских настроений курдов, всячески пыталось ассимилировать курдов с арабским населением страны. Эти попытки носили как сугубо агрессивный характер — подавление курдских общественных организаций, физическое устранение населения Курдистана, в том числе и мирного, арабизация курдских регионов, так и договорную направленность, в зависимости от складывающейся конъюнктуры.

Свержение режима С. Хусейна в 2003 г., принятие Конституции Ирака в 2005 г., закрепляющей положения об автономии Иракского Курдистана в рамках федеративного Ирака, назначение на пост президента Ирака Дж. Талабани — все это способствовало сглаживанию противоречий между Курдской автономией и федеральным центром. Однако вопросы о разделе доходов от продажи нефти, основные месторождения которой находятся на территории Курдистана, и разногласия в выборе внешнеполитических союзников препятствуют полному снятию напряженности в отношениях между центральной властью Иракской Республики и автономным Иракским Курдистаном.

Социокультурный аспект. Курды — народ с более чем тысячелетней историей [6. С. 12]. Необходимо отметить, что, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки ассимиляции, курды сохранили уникальные, свойственные только им этнические характеристики. Двойственную роль в формировании национального самосознания курдов сыграла среда их пребывания, а именно жизнь в удаленных долинах между гор. С одной стороны, обособленность курдских сообществ способствовала передаче неизменных традиций, поддержанию единого этнического типа. С другой стороны, проживание в горах способствовало клановости курдского сообщества.

Территорию, относимую сегодня к этническому Курдистану, заселяли курдские племена, объединенные в несколько ведущих кланов. Социальный институт кланов у курдов сохранился и по сей день. Как правило, представители клана говорят на одном языковом диалекте, признают власть знатных вождей — выходцев из влиятельной на протяжении десятков лет семьи, ассоциируют себя с определенной территорией, на которой проживали их предки. У представителей различных курдских кланов сохраняются свои отличительные особенности — в одежде, поведении, речи.

На ментальном уровне для курдских сообществ характерна следующая особенность поведения. Как только давление на культурную, хозяйственную и иные

составляющие их жизни переходит некоторую условную критическую черту, курдские племена удаляются в дальние горные районы. И наоборот, не ощущая «угрозы» со стороны других этносов, их поползновений на доминирование и призывов к ассимиляции, курды продуктивно осваивают равнинные территории. При этом они добровольно и более широко осваивают те или иные адаптивные стратегии. Так, по мнению некоторых исследователей, принятие ислама было частью подобной адаптивной стратегии [2].

Клановые отношения имеют непосредственное влияние на политические отношения. Так, например, Мулла Мустафа Барзани — выходец из знатной курдской семьи Барзана (вождей по происхождению). Род М. Барзани принес большие жертвы во имя свободы курдов. Барзанцы уничтожались, подвергались ссылкам и репрессиям.

Мулла Мустафа Барзани обладал огромным авторитетом при жизни, его имя впечатано заглавными буквами в историю национально-освободительной борьбы курдов. Его сын Масуд Барзани возглавил Иракский Курдистан и ДПК после смерти отца.

Барзанцы говорят на диалекте курманджи. Он распространен на севере и западе от реки Большой Заб, население там является приверженцами ДПК. На юге же страны говорят на диалекте сорани и разделяют взгляды ПСК. Клановость сохраняется и на бытовом уровне, так, например, в городах постройки домов представителей одного клана возводятся группами и стоят поодаль от домов курдов из другого клана.

Несмотря на клановость, разнообразие курдских типов, «главным и поразительным фактом древнего единства курдов является их язык» [9. С. 209]. Целостность и единство курдского языка по фонетическим и грамматическим признакам является одним из самых веских научных аргументов, подтверждающих монолитность курдской нации и укрепляющих национальную идентичность курдов. Разнообразие диалектов курдского языка, употребляемых различными кланами, не опровергает отмеченный выше тезис.

Национальная идентичность иракских курдов усиливается их культурной гомогенностью. На ментальном уровне курды ощущают себя частью единого общества, частью «своих», противопоставляющих себя «другим», что находит отражение в курдской литературе [11; 12]. Песни, сказки, баллады курдов чаще посвящены национально-освободительным мотивам и воспевают храбрость, силу, независимость народного героя. Мелодии и тексты народных песен, сюжеты сказок и баллад едины и узнаваемы на территории всего этнического Курдистана.

Духовно-интеллектуальная и культурная идентичность иракских курдов воспроизводится благодаря таким социальным институтам, как семья, система образования. Семья прививает младшим поколениям сильное устойчивое положительное отношение не только к своему сообществу, но и к месту проживания, «своей» земле. Семья транслирует ценность патриотизма.

Что касается образования как социального института, способного многократно усилить феномен национально-культурной идентичности, следует отметить, что в Иракском Курдистане активно развивается этот ресурс. Уровень грамотности населения региона за последние девять лет, по оценкам специалистов, повы-

сился на 20%. В регионе успешно функционируют 18 национальных и иностранных университетов. Строятся новые школы, средние специальные учебные заведения. Особое значение уделяется подготовке местных кадров высшего и среднего звена. Начальное, среднее и высшее образование в регионе ранее осуществлялось на арабском языке. Это положение изменилось после формирования Регионального правительства Курдистана. Теперь обучение ведется на курдском, арабском и других языках. Так, в 2006 г. открыла свой филиал в Иракском Курдистане Международная школа Choueifat, в сентябре 2011 г. в Сулеймании открылась Британская Международная школа. Успешно функционируют иностранные центры языковой подготовки к обучению в зарубежных вузах, в Эрбиле открыта Академия информационных технологий [7].

Как отмечалось выше, сразу после распада Османской империи, будучи под мандатом Англии, иракские курды ненадолго получили возможность получать образование на родном языке. Впоследствии иракские курды то теряли, то возобновляли эту возможность. Так или иначе, изучение лучших образцов национальной литературы, произведений, прививающих идеи самопожертвования во имя блага своего сообщества, уже много лет доступно иракским курдам на официальной основе, что, безусловно, оказывает влияние на формирование национальной идентичности.

Курды Ирака, как и всего этнического Курдистана, считают главным национальным праздником Ноуруз (Новый год), отмечаемый 21 марта.

Усилению национального самосознания курдов Иракского Курдистана способствует укрепление хозяйственных связей внутри автономии. Добыча нефти и газа, сельское хозяйство, строительство на сегодняшний день являются основными двигателями экономического развития региона. Провозглашенная местными властями программа на устойчивое экономическое развитие региона на основе модернизации направлена на поддержание и создание государственных и частных промышленных предприятий с привлечением иностранных инвесторов. Заявлено, что частный сектор станет двигателем экономики Иракского Курдистана, обеспечит уменьшение безработицы, повышение доходов населения, улучшение качества жизни. Правительство Иракского Курдистана также делает ставку на развитие туризма в автономии и активно привлекает в регион инвестиции под туристические проекты.

Национальное самосознание иракских курдов значительно укрепилось на фоне установления статуса Иракского Курдистана как субъекта федерации в федеративном Иракском государстве в 2005 г. У Иракского Курдистана появились свой флаг, гимн, конституция, свод региональных законов, президент, правительство, судебные органы, вооруженные силы, полиция, спецслужбы, право на местные налоги, таможенные сборы, внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность. Курдский язык, наряду с арабским, был признан государственным языком.

В отличие от остальных курдских сообществ курды Ирака достигли наибольших успехов на пути обретения независимости и формирования собственной

государственности. Однако на сегодняшний день Иракский Курдистан все еще остается крайне сложным для управления социальным и политическим образованием. В регионе помимо курдов проживают ассирийцы, халдеи, арабы.

С одной стороны, в Иракском Курдистане созданы предпосылки для мирного существования представителей всех национальностей. Это закреплено Конституцией 2005 г. Особенно заметной тенденция миграции представителей других этносов в Иракский Курдистан стала в период гражданской войны и политической нестабильности в Ираке после свержения режима С. Хусейна, поскольку Курдистан отличается большей стабильностью и безопасностью, чем другие районы страны.

С другой стороны, периодически возникают определенного рода разногласия, например, с туркоманами, — претендующими на особые права в нефтеносном Киркуке и выражающими интересы Турции в регионе; или с арабами, особенно в период политики арабизации, проводившейся во времена правления С. Хусейна.

Немалую роль в отношениях между сообществами в Иракском Курдистане играет конфессиональный признак. Следует сказать, что зачастую этноконфессиональные отношения зависят от складывающейся политической и экономической конъюнктуры. Так, в начале 2000-х курды более плотно сотрудничали с арабами-шиитами, сегодня же налажен тесный контакт с арабами-суннитами. Значимая часть курдов исповедует езидизм.

Резюмируя выше сказанное, необходимо отметить следующее. Несмотря на клановость курдского сообщества в Ираке и вытекающие отсюда различия в языковых диалектах и политических взглядах, в Иракском Курдистане на сегодняшний день сильны процессы консолидации, основанные на росте национального самосознания населения. Этому способствуют как объективные исторические факты, так и субъективные представления, разделяемые большинством иракских курдов на ментальном, духовно-интеллектуальном уровне.

С одной стороны, влияние внешних факторов, проявляющихся в заинтересованности мировых и локальных государств в курдских территориях и ресурсах, а также в попытках использования курдского вопроса для влияния на геополитических оппонентов, категорически препятствует эволюционному пути обретения иракскими курдами национального независимого государственного образования, а с другой, укрепляет национальную идентичность курдов на почве приверженности общей задаче — сопротивлению и борьбе с внешними угрозами.

Иракские курды выбрали сознательную стратегию «катализации» роста национального самосознания, — не только на основе консолидации общества на почве пережитых гонений, геноцида, но и на базе воспроизводства национальной идентичности через такие социальные институты, как образование, средства массовой информации, через выстраивание крепких хозяйственных и экономических связей в автономии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Асапрян Г.С.* Талышский феномен и курдская мозаика — реальность и иллюзии // URL: <http://ru.1in.am/1140639.html>.

- [2] *Бохеньска И., Ланченко И., Шахназарян Н.* Курдская мекка? Гора Арарат в восприятии курдов (о символах идентичности) // *Дiasпоры*. 2010. № 1.
- [3] *Васильева Е.И.* Курдские историографы о курдских племенах (от Шараф-Хана Бидлиси — XVI в. до Мирзы Али-Акбара Курдистани — XIX в.) // *Письменные памятники Востока*. 2010. № 2.
- [4] *Вертяев К.В., Жигалина О.И., Иванов С.М.* Политические процессы в курдских ареалах стран Западной Азии (Ираке, Турции, Сирии, Иране). М., 2013.
- [5] *Иванов С.М.* Иракский Курдистан на современном этапе (1991—2011 гг.). М., 2011.
- [6] *История Курдистана*. М., 1999.
- [7] *Курдский фактор в региональной геополитике (Материалы круглого стола в ИМЭМО РАН 11.03.2015 г.)*. М., 2015.
- [8] *Лазаревские чтения*. Вып. 1. М., 2012.
- [9] *Минорский В.Ф.* Курды — потомки мидян // *Письменные памятники Востока*. 2013. № 1.
- [10] *Примаков Е.М.* Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX — начало XXI века). М., 2006.
- [11] *Сальников А.С.* Понятийные характеристики концепта «патриотизм» в курдской поэзии // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2009. № 1.
- [12] *Сальников А.С.* «Свой» в курдской поэзии // *Вестник Воронежского государственного университета*. Серия «Филология. Журналистика». 2010. № 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-96-105

SOUTH KURDISTAN: FACTORS OF THE IRAQI KURDS' NATIONAL IDENTITY*

Hawlla Khoshawi Muhammad Hawlla

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University),
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russian Federation
(e-mail: xoshawi82@yahoo.com)

Abstract. The article considers factors determining the peculiarities of the integration processes in Iraqi Kurdistan. The formation of Iraqi Kurdistan as a social-political community was determined by the growth of national consciousness of the population of the autonomy, and by accelerating processes of self-determination under the influence of a number of external and internal reasons. The national identity of the Iraqi Kurds as a part of the Kurdish people is based on the same historical background, language, and culture, on the mental attribution of the Kurds to the single group, which is explained not only by historical facts, but also by a specific worldview and myths sometimes divorced from reality but rooted in the collective representations. The external pressure of direct aggression and political enforcement to the assimilation plays a key role in the consolidation of the Iraqi Kurds and in the growth of their national self-determination: the resistance to the common enemy strengthens the national identity of the Iraqi Kurds. The author examines factors both general for all the Kurds and specific for Iraqi Kurdistan, i.e. the strengthening of the common form of language through the education, literature and media institutions, and the development of economic relations and civil and political institutions, which is due to the autonomy status of Iraqi Kurdistan. The article identifies and examines objective reasons preventing intensive integration processes in the community of Iraqi Kurds, which are, on the one hand, the influence of the external forces including neighbor states, transnational corporations, the authorities of Baghdad, and the growing military aggres-

* © Hawlla Khoshawi Muhammad Hawlla, 2016.

sion of the armed terrorist groups; on the other hand, the slowdown of integration processes inside Iraqi Kurdistan are due to the internal contradictions in the autonomy determined by the features of the social and political structure of the Kurd society, such as tribalism, immaturity of the political system, and ethnic and religious diversity.

Key words: Iraqi Kurdistan; the Kurds; national identity; self-determination; autonomy; clan system; Middle East; political sociology.

REFERENCES

- [1] Asatryan G.S. Talyshskij fenomen i kurdskaia mozaika — real'nost' i illyuzii [Talysh phenomenon and Kurdish mosaic — reality and illusions]. Available from: <http://ru.1in.am/1140639.html> (In Russ).
- [2] Bohan'ska I., Lanchenko I., Shahnazaryan N. Kurdskaia mekka? Gora Ararat v vospriyatii kurdiv (o simvolah identichnosti) [Kurdish Mecca? Mount Ararat in the perception of the Kurds (about symbols of identity)]. *Diaspory*. 2010;(1) (In Russ).
- [3] Vasil'eva E.I. Kurdskie istoriografy o kurdskih plemenah (ot Sharaf-Hana Bidlisi — XVI v. do Mirzy Ali-Akbara Kurdistani — XIX v.) [Kurdish historiography on Kurdish tribes (from Sharaf Khan Bidlisi — XVI to Mirza Ali Akbar of Kurdistani — XIX)]. *Pis'mennye pamyatniki Vostoka*. 2010;(2) (In Russ).
- [4] Vertyaev K.V., Zhigalina O.I., Ivanov S.M. *Politicheskie processy v kurdskih arealah stran Zapadnoj Azii (Irake, Turcii, Sirii, Irane)* [Political processes in the Kurdish areas of Western Asia (Iraq, Turkey, Syria, Iran)]. Moscow; 2013 (In Russ).
- [5] Ivanov S.M. *Irakskij Kurdistan na sovremennom etape (1991—2011 gg.)* [Iraqi Kurdistan at the Present Stage (1991—2011)]. Moscow; 2011 (In Russ).
- [6] *Istoriya Kurdistana* [History of Kurdistan]. Moscow; 1999 (In Russ).
- [7] *Kurdskaia faktor v regional'noj geopolitike* [The Kurdish Factor in Regional Geopolitics] (Materialy kruglogo stola v IMEMO RAN 11.03.2015 g.). Moscow; 2015 (In Russ).
- [8] *Lazarevskie chteniya* [Lasarev Readings]. Moscow; 2012;(2) (In Russ).
- [9] Minorskij V.F. Kurdy — potomki midyan [The Kurds as descendants of Medes]. *Pis'mennye pamyatniki Vostoka*. 2013;(1) (In Russ).
- [10] Primakov E.M. *Konfidencial'no: Blizhnij Vostok na scene i za kulisami* (vtoraya polovina XX — nachalo XXI veka) [Confidential: The Middle East on the Stage and behind the Scenes (Second Half of XX — Early XXI Century)]. Moscow; 2006 (In Russ).
- [11] Sal'nikov A.S. Ponyatijnye harakteristiki koncepta “patriotizm” v kurdskoj poezii [Conceptual characteristics of the term “patriotism” in the Kurdish poetry]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 2009;(1) (In Russ).
- [12] Sal'nikov A.S. “Svoi” v kurdskoj poezii [“Our” in the Kurdish poetry]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Filologiya. Zhurnalistika”*. 2010;(1) (In Russ).



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-106-115

КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ: ОПЫТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ*

К.Г. Герасимова

Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева,
Московское шоссе, 34, Самара, 443086, Россия
(e-mail: GerasimovaKG@gmail.com)

Автор статьи рассуждает о необходимости методического осмысления логики и подходов к конструированию социологических индексов. Интерес к вопросам математического моделирования в социологии возрастает в контексте общей информационной насыщенности. С увеличением потока информации будет все более очевидна необходимость методических доработок по отдельным направлениям анализа данных, моделирования в социологии. По мнению автора, индексы, как обобщенные (интегральные) показатели, смогут в достаточной мере обеспечить потребность в комплексной представленности сложных социальных явлений. Несмотря на существующую практику использования социологических индексов в современных эмпирических исследованиях (причем как на уровне международных организаций, так и в контексте частных исследовательских проектов), обобщенного методического опыта, позволяющего «регламентировать» процедуру разработки и верификации, подобных конструктов, по большому счету, недостаточно. Решая задачу систематизации существующего опыта, автор четко определяет категорию «социологический индекс», рассуждает о необходимости выделения отдельных групп индексов: социометрических, глобальных и «классических». Кроме того, обсуждается специфика построения логических и аналитических индексов. Основное внимание в статье уделяется приемам конструирования социологических индексов (содержательной и математической логике их образования), обсуждаются возможности и ограничения приведенных методических разработок. Представленный опыт позволяет использовать существующие наработки применительно к решению других содержательных задач, т.е. при изучении разнообразных социальных явлений. В качестве авторского решения предлагается общий алгоритм разработки социологических индексов как некоторой математической модели, основанный на последовательном прохождении трех этапов: методологического, методического, эмпирико-аналитического.

Ключевые слова: комплексные социальные показатели; социологический индекс; логический индекс; аналитический индекс; факторный анализ; средние значения

Насыщенность современного информационного пространства придает особый статус методам обработки и анализа больших объемов числовых (и нечисловых) данных, открывает новые горизонты для развития математического моделирования и прогнозирования. В публичном дискурсе прочно закрепился термин «Эра больших чисел» (Big Data), характеризующий, в том числе колоссальный объем данных, ежедневно генерируемых, обрабатываемых и анализируемых.

Социологи «на кончиках пальцев» ощущают происходящие перемены, которые неизбежно принесут новые методические решения по работе с Big Data.

* © Герасимова К.Г., 2016.

Например, Грушинская конференция, организованная Фондом «Общественное мнение» в 2015 г., полностью была посвящена вопросам Big Data [11]. Да, действительно, «вызовы времени» диктуют необходимость формирования новых подходов к анализу информации, к рефлексии социологов о принципиально иных позициях в процессе сбора и анализа информации [3]. И ответ на эти вызовы стоит, пожалуй, начать с некоторой осознанной «ревизии» методических приемов, уже имеющих в арсенале социолога.

Для социологии в самом общем виде происходящие перемены можно рассматривать как новый виток интереса к количественной обработке данных, в том числе к разного рода комплексным социальным показателям, социологическим индексам. В статье представлено методическое осмысление автора существующих подходов к построению (конструированию) социологических индексов. В рамках ретроспективного анализа мы можем убедиться, что основной пик внимания к вопросам методики анализа социологических данных в отечественной практике, к рефлексии вопросов социальных показателей, а также измерению и обработке приходится на конец 70-х — начало 90-х гг. прошлого века. Целая плеяда отечественных социологов публикует монографии и коллективные сборники по этой тематике: Ю.Н. Толстова, И.Ф. Девятко, Г.Г. Татарова, В.Д. Патрушев, М.С. Косолапов, Г.В. Осипов, В.Г. Андреев, Т.И. Заславская, И.Б. Мучник и многие другие.

Интерес современной науки к вопросам измерения и обработки продиктован в том числе «необходимостью адаптировать» классические рецепты к современным условиям (будь то Big Data или, скажем, результаты он-лайн исследований). Недостаток методической рефлексии сполна компенсируется исследовательскими разработками в области конструирования социологических индексов на примере решения конкретных прикладных задач.

Однако потребность в обобщении и осмыслении существующего опыта все-таки назрела [8]. В рамках представленной статьи автор стремится внести определенную лепту в обобщении существующего опыта построения социологических индексов и, в некоторой мере, критического осмысления методических решений. Итак, следуя непреложной логике, начнем с определения самого понятия «социологический индекс».

В Энциклопедическом социологическом словаре под общей редакцией академика Г.В. Осипова индекс трактуется как «специфическая конструкция, образованная путем комбинации индикаторов» [17. С. 219—220]. Этот путь включает в себя четыре основных шага:

- 1) переход от понятия к индикаторам через операциональные, или неоперациональные определения;
- 2) перевод индикаторов в переменные (определение тип шкалы и, если возможно, единиц измерения, начала отсчета и т.д.);
- 3) перевод переменных в индекс (выбор техники конструирования индекса); при этом отмечается, что значения индекса могут находиться как на основе определенного математического анализа наблюдаемых величин, так и путем введения формулы, выражающей связь латентной переменной с индикаторами;
- 4) оценку индекса (проверка на надежность и обоснованность).

В своих работах Ю.Н. Толстова неоднократно уделяет внимание методическим вопросам использования социологических индексов [15. С. 101—107; 16. С. 107—108]. В частности, описывает эти конструкты как инструменты измерения некоторой установочной латентной переменной посредством определенного набора наблюдаемых переменных. Особо тщательно, по мнению автора, при разработке социологических индексов следует подойти к вопросам о том, существует ли собственно та одномерная латентная переменная, которую мы измеряем с помощью этого конструкта; удачен ли набор наблюдаемых переменных, которые составляют социологический индекс; адекватные ли те приемы (методы) объединения наблюдаемых переменных, которые мы используем для расчета индекса [15. С. 104—106].

В качестве примеров конструирования социологических индексов Ю.Н. Толстова приводит процедуру *балльного суммирования* (например, суммы баллов удовлетворенности различными аспектами работы для измерения общей удовлетворенности в этой сфере), а также так называемый «*логический квадрат*» (для изучения уровня культурного развития через фиксацию разного рода практик потребления культуры: чтения книг, посещения культурных мероприятий и пр.). Фактически автор предлагает два готовых решения по расчету индексов.

Таким образом, в рамках конструирования и расчета социологических индексов мы проходим по крайней мере два больших этапа: методологический и методический. На первом происходит принципиальный методолого-теоретический выбор исследователя: на основании какого подхода мы представляем себе изучаемое явление, которое будет измерено посредством социологического индекса, и какие его проявления в дальнейшем станут индикаторами. На втором этапе решаются принципиальные вопросы: какими шкалами будут измерены наблюдаемые переменные и на основании каких логических или аналитических операций они образуют итоговый одномерный континуум социологического индекса.

В целом стоит отметить, что социологические индексы как измерительные (и даже шире — аналитические) конструкты занимают некоторое «промежуточное» положение между классическими шкалами (номинальной, порядковой и т.д.) и более сложными авторскими (именными шкалами) (Л.Л. Терстоуна, Л. Гутмана, Р.Лайкерта). Собственно авторские шкалы и были разработаны как некоторый «ответ» на несовершенство и ограничения социологических индексов, о чем, например, упоминает И.Ф. Девятко в монографии «*Диагностическая процедура в социологии*» [5].

На современном этапе социологические индексы достаточно часто используются в исследовательской практике, кроме того, целый ряд разработок применяются крупными международными организациями для получения некоторой сводной картины по различным странам мира. Например, ООН и OECD, Gallup и другие. Диагностике подвергаются самые разнообразные стороны жизни населения: от качества жизни и развития человеческого потенциала до инвестиционного климата и религиозности.

Вместе с тем стоит критически осмыслить некоторую терминологическую свободу в использовании понятия «социологический индекс». В частности то, что

ВЦИОМ называет Индексом счастья, Индексом политического доверия и прочие, вряд ли можно считать таковым хотя бы по той причине, что он не отвечает условию «комплексности», а рассчитывается как разность долей положительных и отрицательных ответов по одной переменной [12]. Такого рода конструкты стоит называть более подходящим термином «показатели».

В многообразии социологических индексов можно выделить самостоятельные группы, которые можно рассматривать как некоторые типичные варианты данных конструктов. В частности, можно выделить *социометрические индексы* (здесь вполне очевидно, что это устоявшиеся конструкты «заточенные» под решение задач исследования малых групп, хотя в строгом смысле также не являющиеся комплексными, а скорее одномерными).

Далее, в качестве авторского решения предлагается выделить группу так называемых «*глобальных индексов*». В строгом смысле слова их нельзя назвать социологическими, поскольку они рассчитываются, как правило, на базе объективных (статистических) показателей, а не в результате применения опросных методов. К этому классу относятся все индексы, например, которые используются для построения рейтинга стран мира по уровню жизни. И отдельная группа «*классических*» социологических индексов, которые измеряют некоторый латентный установочный признак через набор наблюдаемых индикаторов. К рассмотрению этой группы и обратимся более подробно.

Традиционно выделяют индексы индивидуальные (которые рассчитываются для отдельного человека) и групповые (для социальной группы, или выборки в целом). По методике «конструирования» индексы можно разделить на логические и аналитические. При этом можно сказать, что значения логических индексов присваиваются (например, на основании использования логического квадрата или прямоугольника), а аналитических — рассчитываются (на базе математических процедур). Кроме того, принято говорить об *интегральном* индексе в тех случаях, когда его построение (расчет) основан на «промежуточных», так называемых, частных индексах.

Блестящий пример разработки и обоснования *логических* индексов приводят в своих работах Г.Г. Татарова и Г.П. Бессокирная [2]. В рамках осуществления типологического анализа проводится обоснование, разработка и расчет социологических индексов, позволяющий, с одной стороны, выделить группы рабочих (в том числе по характеру идентификации с предприятием), а с другой — объяснить существование этих групп и изучить факторы, влияющие на трудовое поведение. На мой взгляд, особенно важно, что авторы уделили пристальное внимание методическим вопросам разработки социологических индексов, в том числе поставив и успешно решив ряд принципиальных проблем: в частности, необходимость осуществления факторного анализа для выявления индикаторов латентных переменных; обоснование единообразия уровня измерения классификационных признаков; учет респондентов, затруднившихся с ответом или не ответивших на те или иные вопросы, при расчете логических индексов за счет импутации (восстановления) данных. Кроме того, авторы предлагают рекомендации для использования индексов в типологическом анализе работников.

Отдельный методический интерес при рассмотрении социологических индексов представляют собственно авторские решения по конструированию *аналитических* социологических индексов. «Спектр» математических операций, которые используются для расчета аналитических индексов, относительно ограничен. По большому счету можно выделить такие наиболее распространенные варианты как суммирование баллов, полученных по индикаторам (Лайкертская логика), расчет индекса как среднего значения, вычисление коэффициентов уравнения множественной регрессии, осуществление процедуры факторного анализа.

Использование процедуры *суммирования баллов* по различным индикаторам для расчета индекса приводится, например, в статье Н.Е. Тихоновой, Н.М. Давыдовой и И.П. Поповой «Индекс уровня жизни и модель стратификации российского общества» [14]. «Изюминка» предлагаемого методического решения состоит в том, что дифференциация населения осуществляется не только исходя из имеющихся благ, но и на основании депривации (т.е. отсутствия «обязательных» атрибутов). Кроме того, в модели учитывается, что ресурсы могут быть конвертированы не только в предметно-вещевые блага, но и в определенные услуги, различные формы социального участия, досуга, отдыха.

Интегральный показатель качества жизни выстраивался авторами исходя из 7 показателей: 1) субъективных оценок наличия наиболее значимых форм депривации; 2) имущественной обеспеченности; 3) наличия недвижимости, которой можно было пользоваться в повседневной жизни, но которую можно было бы и продать, получив дополнительный финансовый ресурс; 4) качества жилищных условий; 5) наличия денежных сбережений и вкладов в различных формах; 6) возможности использования платных социальных услуг; 7) досуговых возможностей, связанных с дополнительными расходами.

Общее количество индикаторов в данной модели составило 46 единиц. С математической точки зрения наличие признаков благосостояния обеспечивало увеличение количества баллов, а признаков депривации, напротив, их уменьшение. На основании последовательного суммирования (и вычитания) баллов по отдельным индикаторам рассчитывался индивидуальный индекс качества жизни для каждого респондента. В целом, значения интегрального показателя могли варьироваться в интервале от -23 до $+67$ баллов. На практике его колебания находились в пределах от -18 до $+54$. Предполагается, что полученный интегральный показатель относится к метрическим шкалам.

Интерпретация полученных результатов в контексте решаемой задачи по стратификации населения основывается, с одной стороны, на чисто математических показателях (в частности расчета медианного значения, а также линейной регрессионной модели для определения границ бедности и глубокой бедности), с другой — дополняется результатами экспертного опроса.

Отметим, что Н.Е. Тихонова продолжает методическую работу по использованию индексов в рамках изучения стратификационной структуры общества, и предлагает для анализа, так называемого, андеркласса индексы доступности эффективной занятости и индекса принадлежности к депривированным слоям насе-

ления (которые также построены на принципах присвоения и суммирования баллов респондентам, исходя из значения индикаторов) [13].

Суммирование баллов по исходным индикаторам для определения уровня социального самочувствия предлагают, например, украинские исследователи Е.И. Головаха, Н.В. Панина, А.П. Горбачик [4]. Авторы разработали как расширенный вариант теста ИИСС (44 пункта опросника), так и сокращенный (20 пунктов) для мониторинговых и сравнительных исследований. Кроме того, пристальное внимание уделено оценке надежности предлагаемого теста, которая была осуществлена в несколько этапов, в том числе через оценку внутренней согласованности пунктов шкалы (коэффициент Альфа Кронбаха), ретестовой надежности и другие.

В целом, используя подобного рода модели (основанные на присвоении и дальнейшем суммировании баллов) исследователи должны учитывать следующие принципиальные моменты: все ли индикаторы (образующие интегральный показатель) имеют единую логику и размерность присвоения баллов; если логика присвоения баллов по индикаторам различна, то необходимо обосновать это различие (т.е. почему в одном случае присваивает одно количество баллов, а в другом — другое); принять решение об интерпретации итогового континуума индекса (какие значения будут признаны высокими, какие низкие и прочее, будет ли он признан метрическим или сведен к порядковой шкале (тогда какой размерности)?

Процедура формирования социологических индексов на базе *средних значений*, пожалуй, наиболее распространенная и «простая». При этом допускается расчет средних показателей на базе индикаторов, измеренных по порядковым шкалам. Средние значения могут быть рассчитаны по отношению к исходным индикаторам либо по отношению к частным индексам для перехода к интегральному (обобщенному показателю). Такую модель, например, предлагает П.И. Мтиулишвили при изучении социальных настроений россиян [10]. В предлагаемой модели интегральный индекс рассчитывается как среднее значение шести частных индексов (удовлетворенности жизнью, социального оптимизма, материального благосостояния, экономического положения страны, политического положения, согласия). Кроме того, оценка влияния каждого частного индекса на обобщенный показатель оценивалась с помощью корреляционного анализа, что позволяет разделить их на три группы в зависимости от степени связи с интегральным показателем.

Индекс общественных настроений региона (ИОНР) в варианте, описанном И.Н. Дементьевой [6], также исчисляется на базе средних значений и позволяет оценить данные об отношении жителей различных территории к работе федеральных и местных органов исполнительной власти.

Средневзвешенное значение 17 исходных индикаторов лежит, например, в основе модели изучения субъективно воспринимаемого качества жизни, предложенной А.М. Алмакаевой [1]. При этом взвешивание происходит на основании оценок важности того или иного аспекта жизни. Таким образом, в логике данного пока-

зателя заложен следующий принцип: чем выше удовлетворенность по значимым для человека аспектам жизни, тем выше общий интегральный показатель субъективно воспринимаемого качества жизни.

М.Д. Красильникова освещает наработки Левада-Центра по построению сводного индекса социальных настроений (ИСН) на базе расчета средних значений частных индивидуальных индексов (всего 12 исходных индикаторов): индекса текущего положения семьи (ИС), индекса текущего положения страны (ИР), индекса ожиданий (ИО) и индекса оценки власти (ИВ) [9]. При этом для обоснования возможности объединения исходных переменных в единый показатель предпринимается процедура факторного анализа, которая наглядно демонстрирует высокие факторные нагрузки (0,6—0,8) в единственном сводном факторе.

Процедура факторного анализа используется также и при разработке индекса инновативного поведения в рамках трудовой деятельности, предложенного С.Г. Климовой, Е.Г. Галицкой и Е.Б. Галицким [7]. Именно по результатам данной процедуры были выявлены трудовые практики, связанные с инновациями. В своем исследовании авторы последовательно применяли целый комплекс математических процедур, в том числе кластерный и регрессионный анализ. Индекс инновативности в итоге рассчитывался на базе регрессионного уравнения, коэффициенты которого были получены в ходе повторного факторного анализа (по одному фактору — инновативности). Нормирование итогового коэффициента позволило «придать» индексу размерность от 0 до 100 баллов.

Вместе с тем использование факторного анализа при конструировании социологических индексов, на мой взгляд, имеет ряд принципиальных особенностей. В частности, полученная таким методом модель применима только к тем данным, на которых построена, и с определенной долей вероятности не будет воспроизведена на новых данных. Кроме того, весьма велик субъективный фактор аналитика (который, в конечном счете, принимает решение о выборе метода улучшения модели, например, вращения факторов).

Как мы видим, спектр возможных решений по конструированию социологических индексов достаточно широк. Вместе с тем в рамках данной статьи хотелось бы аккумулировать существующий опыт и предложить алгоритм разработки и верификации социологических индексов в качестве авторского методического решения. На наш взгляд, весь процесс можно разбить на *три последовательных этапа*: методологический, методический и эмпирико-аналитический. В рамках *первого этапа* исследователь формирует общее теоретическое представление об изучаемом явлении (которое в дальнейшем будет измерено с помощью индекса), о его структуре. На *методическом этапе* происходит детализация представлений: необходимо подтвердить континуальность изучаемого сложного признака, структурные элементы перевести в индикаторы, кроме того, определить тип и размерность шкал, с помощью которых будут измерены базовые признаки, входящие в состав комплексного показателя.

Далее отдельный блок вопросов данного этапа связан конструкционной природой самого индекса: аналитическими или логическим он будет, каким образом

будет исчисляться, какие критерии качества модели будут использоваться. *Эмпирико-аналитический этап* подразумевает верификацию разработанной модели индекса «в поле». В ходе работы с реальными числами могут быть выявлены проблемные зоны изначальной теоретической модели, поэтому на этапе методической работы целесообразно закладывать в модель как основные, так и альтернативные индикаторы.

Социологические индексы могут быть построены на базе самых разнообразных логико-математических преобразований. Однако, избирая ту или иную «стратегию» объединения исходных индикаторов в социологический индекс необходимо четко понимать, не только числовой механизм преобразований, но и содержательный смысл операций. Что дает усреднение или суммирование, что в итоге получает исследователь? Главное, чтобы стремление к оригинальности не вступало в конфликт с социальным наполнением, а игра с числами не стала самоцелью.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Алмакаева А.М. Субъективное восприятие качества жизни: теоретико-методологические и методические аспекты анализа: Автореф. дисс. к. с. н. М., 2007.
- [2] Бессокирная Г.П., Татарова Г.Г. Идентификация с предприятием: индексы для типологического анализа работников // Спутник ежегодника «Россия реформирующаяся». М., 2014.
- [3] Волков В.В., Скугаревский Д.А., Тумаев К.Д. Проблемы и перспективы исследований на основе Big Data (на примере социологии права) // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 48—58.
- [4] Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: 4М. 1998. № 10. С. 45—71.
- [5] Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. М., 1993.
- [6] Дементьева И.Н. Опыт применения индексного метода в социологических исследованиях // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 4. С. 15—23.
- [7] Климова С.Г., Галицкая Е.Г., Галицкий Е.Б. Инновативное поведение на работе: опыт построения социологического индекса // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 5. С. 5—15.
- [8] Корытникова Н.В. Новые социологические индексы // Социологические исследования. 2014. № 3. С. 148—149.
- [9] Красильникова М.Д. Интегральные показатели социального самочувствия // Вестник общественного мнения. 2011. № 13. С. 109—117.
- [10] Мтиулишвили П.И. Индекс социальных настроений и показатели протестного потенциала населения // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 6. С. 55—64.
- [11] Программа Грушинской конференции 2015 // URL: <http://wciom.ru/index.php?id=317>.
- [12] Седова Н.Н. Индекс общественных настроений: методика и динамика // Мониторинг общественного мнения. 2004. № 3. С. 120—123.
- [13] Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосылки анализа) // Общественные науки и современность. 2010. № 4. С. 26—36.
- [14] Тихонова Н.Е., Давыдова Н.М., Попова И.П. Индекс уровня жизни и модель стратификации российского общества // Социологические исследования. 2004. № 6. С. 120—130.
- [15] Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М., 2007.
- [16] Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных / Отв. ред. Г.С. Батыгин. М., 1991.
- [17] Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. Г.В. Осипова. М., 1995.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-106-115

SOCIOLOGICAL INDICES: METHODOLOGICAL REFLECTION ON THE CONSTRUCTION PATTERNS*

K.G. Gerasimova

Samara University,
Moskovskoye Sh., 34, Samara, 443086, Russia
(e-mail: GerasimovaKG@gmail.com)

Abstract. The author asserts the need for the methodological reflection on the logic and basic approaches to the construction of sociological indices under the growing interest to mathematical modeling in sociology in the nowadays context of information saturation. Due to the constant increase of information flows, there is an evident need for methodological improvements in some areas of data analysis and modeling in sociology. The author believes that indices as generalized (integrated) indicators can represent complex social phenomena adequately and comprehensively. Despite the current widest usage of sociological indices in empirical research (both by international organizations and in small research projects), there is not enough methodological reflection to ‘regulate’ the procedure of indices development and verification. Thus, the author defines the category ‘sociological index’; introduces different groups of indices — socio-metric, universal, and ‘classic’; and considers the specifics of constructing logical and analytical indices. The article focuses on methods for constructing sociological indices (substantive and mathematical logic), and on the potential and limitations of such methodological experience. For instance, it allows to apply the existing indices for solving quite new tasks and for studying various social phenomena. The author suggests a general algorithm for constructing sociological indices as a mathematical model based on three sequential steps: methodological, technical and empirical-analytical.

Key words: complex social indicators; sociological index; logical index; analytical index; factor analysis; mean values

REFERENCES

- [1] Almakaeva A.M. *Sub'ektivnoe vosprijatie kachestva zhizni: teoretiko-metodologicheskie i metodicheskie aspekty analiza* [Subjective Perception of the Quality of Life: Theoretical, Methodological and Technical Aspects of the Analysis] [thesis]. Moscow; 2007 (In Russ).
- [2] Bessokirnaia G.P., Tatarova G.G. *Identifikacija s predpriyatiem: indeksy dlja tipologicheskogo analiza rabotnikov* [Identification with the enterprise: Indexes for the typological analysis of workers]. *Sputnik ezhegodnika "Rossija reformirujuschajasja"*. Moscow; 2014 (In Russ).
- [3] Volkov V.V., Skugarevskij D.A., Titaev K.D. *Problemy i perspektivy issledovanij na osnove Big Data (na primere sociologii prava)* [Problems and prospects for the study based on Big Data (on the example of sociology of law)]. *Sociologicheskie issledovanija*. 2016;(1):48—58 (In Russ).
- [4] Golovaha E.I., Panina N.V., Gorbachik A.P. *Izmerenie social'nogo samochuvstvija: test IISS* [How to measure social well-being: IISS test]. *Sociologija: 4M*. 1998;(10):45—71 (In Russ).
- [5] Devjatko I.F. *Diagnosticheskaja procedura v sociologii. Ocherk istorii i teorii* [Diagnostic Procedure in Sociology. An Essay on History and Theory]. Moscow; 1993 (In Russ).
- [6] Dement'eva I.N. *Opyt primeneniya indeksnogo metoda v sociologicheskikh issledovanijah* [The use of index method in sociological research]. *Monitoring obščestvennogo mnenija*. 2014;(4):15—23 (In Russ).

* © K.G. Gerasimova, 2016.

- [7] Klimova S.G., Galitskaja E.G., Galitskij E.B. Innovativnoe povedenie na rabote: opyt postroenija sociologicheskogo indeksa [Innovative behavior at work: The construction of sociological index]. *Monitoring obshhestvennogo mnenija*. 2010;(5):5—15 (In Russ).
- [8] Korytnikova N.V. Novye sociologicheskie indeksy [New sociological indexes]. *Sociologicheskie issledovanija*. 2014;(3):148—149 (In Russ).
- [9] Krasil'nikova M.D. Integral'nye pokazateli social'nogo samochuvstvija [Integral indicators of the social well-being]. *Vestnik obshhestvennogo mnenija*. 2011;(13):109—117 (In Russ).
- [10] Mtiulishvili P.I. Indeks social'nyh nastroenij i pokazateli protestnogo potentsiala naselenija [Index of the social mood and indicators of the social protest potential]. *Monitoring obshhestvennogo mnenija*. 2010;(6):55—64 (In Russ).
- [11] Programma Grushinskoj konferencii. 2015. Available from: <http://wciom.ru/index.php?id=317>.
- [12] Sedova N.N. Indeks obshchestvennyh nastroenij: metodika i dinamika [Index of the social mood: Technique and dynamics]. *Monitoring obshhestvennogo mnenija*. 2004;(3):120—123 (In Russ).
- [13] Tihonova N.E. Nizshie klassy v Rossii (Teoreticheskie i metodologicheskie predposylki analiza) [Lowest classes in Russia (Theoretical and methodological prerequisites of the analysis)]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 2010;(4):26—36 (In Russ).
- [14] Tihonova N.E., Davydova N.M., Popova I.P. Indeks urovnja zhizni i model' stratifikacii rossijskogo obshhestva [Index of the level of living and model of stratification for the Russian society]. *Sociologicheskie issledovanija*. 2004;(6):120—130 (In Russ).
- [15] Tolstova Ju.N. *Izmerenie v sociologii* [Measurement in Sociology]. Moscow; 2007 (In Russ).
- [16] Tolstova Ju.N. *Logika matematicheskogo analiza sociologicheskikh dannyh* [Logic of the mathematical analysis of sociological data]. G.S. Batygin (Ed.). Moscow; 1991.
- [17] Osipova G.V. (Ed.). *Enciklopedicheskij sociologicheskij slovar'* [Encyclopedic Sociological Dictionary]. Moscow; 1995 (In Russ).



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-116-123

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК РАЗНОВИДНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДИСКУРСА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ*

С.А. Шилина

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского,
ул. Бежицкая, 14, Брянск, 241036, Россия (e-mail: supershili2012@yandex.ru)

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением политического дискурса, интерпретируемого автором как разновидность управленческого дискурса. На материале выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 г. обозначены атрибуты, конституирующие политический дискурс. Автор аргументирует трактовку дискурса как социальной технологии коммуникации, что является инновационным подходом к интерпретации дискурса. При реализации управленческого дискурса как коммуникативной технологии язык выступает в качестве кода взаимодействия социума и государства. Заслуживающая внимания особенность коммуникативного кода — способность предполагать социальные ситуации с возможностью выбора для каждого из субъектов системы «государство—общество». Одновременно коммуникация органично комбинирует общность ориентации отбора и идентичность. В статье обосновывается положение, что одной из важнейших особенностей коммуникативной ситуации, находящей свое кодовое отражение в речи Президента, является ее проекция на социально значимые реалии, например, структурный состав субъектов власти, области адресного применения властных полномочий, политико-экономическую ситуацию и т.д. Автор утверждает, что так как содержание рассматриваемого политического дискурса носит вполне определенный характер (его содержание касается экономической сферы), непосредственными адресатами политического дискурса выступают бизнес-сообщества и конкретные представители бизнеса, принимающие участие в работе форума. Однако Президент расширяет аудиторию рядом агентивных номинаций типа «руководители международных организаций», «лидеры государств», «авторитетные политические деятели», тем самым обращаясь к тем, от чьей воли и деятельности зависит экономическое состояние мировой экономики, а значит, и достижение ценностей, единых для всех стран мира. В статье делается вывод, что в социологическом аспекте типологическими характеристиками политического дискурса являются: адресованность мировому сообществу, рассмотрение глобальных проблем, внимание к общечеловеческим ценностям.

Ключевые слова: политический дискурс; управленческий дискурс; технология коммуникации; текст; язык; код; мировое сообщество

В современной социологии устойчивой научной дефиницией стало понимание дискурса как текста, имеющего социально значимую интенцию (см., напр. [7—9]). Причем текст — тоже довольно емкое и разноплановое понятие, трактуемое порой весьма противоречиво (сошлемся, например, на фундаментальное исследование И.В. Троцук «Анализ текстовых данных в социологии: основания систематизации концептуальных моделей, методологических принципов и методических решений», где встречается следующая дефиниция: «...в качестве „текстов“ могут выступать вербальные, невербальные и визуальные „сообщения“» [6. С. 11]).

* © Шилина С.А., 2016.

Следует также отметить отечественных «исследователей и интерпретаторов западных социальных теорий, способствовавших распространению идей „лингвистического переворота“ в России» [9. С. 9] (скажем, «массмедийный дискурс этнополитической коммуникации» П.Н. Киричка [3]), что привело к широкому распространению термина «дискурс» и разнообразной интерпретации этого понятия. При подобной широкой трактовке дискурса и публичную речь политика следует рассматривать как особую разновидность управленческого дискурса. В частности, публичное выступление государственного деятеля, широко практикуемое в современных международных отношениях, также можно назвать дискурсом, принимая во внимание наличие конституирующих дискурс атрибутов.

При рассмотрении управленческого дискурса мы исходим из того, что его важнейшими чертами являются: а) трансляция определенной информации, б) манипулятивность, т.е. воздействие на конкретную социальную единицу с целью побуждения ее к необходимому действию или решению, в) использование инструментария для подобного воздействия и прежде всего специфически организованных коммуникативных средств — единиц естественного языка и „специальных языков“, г) социальная процессуальность, т.е. развертывание и реализация в конкретном социальном пространстве и времени, д) предполагаемость обратной связи и возможность коррекции управленческих интенций» [9].

Эти атрибуты, конституирующие управленческий дискурс, и возможность «целенаправленной коррекции действий субъекта власти в поле каждой из них в зависимости от сигналов обратной связи позволяют отнести управленческий дискурс к технологии управленческой коммуникации» [9]. Но так как дискурс соотносится с управленческой деятельностью, отметим ряд специфических атрибутов, отличающих его «от других видов организационно-управленческой деятельности. Главными из таких черт выступают стабильность, высокий уровень нормативного регулирования, лояльность и государственный уровень ответственности» [9].

Всякая технология состоит, по крайней мере, из трех компонентов: 1) совокупности операций, 2) определенной последовательности операций, 3) определенных способов осуществления операций. Это можно отнести к любой технологии — «от технологии власти до технологии элементарного производственного процесса» [1]. Их совокупный эффект выражается в терминах «технологичность», «технологический» — «полученный, достигнутый наиболее простым и экономичным способом, а в широком смысле — осуществляемый (выполняемый) наиболее простым и экономичным способом» [1].

Вышеназванные моменты образуют в совокупности технологический регламент, задающий необходимые параметры «осуществления соответствующего процесса или деятельности (действия). Лишь тот, кто осуществляет процесс или деятельность в соответствии с технологическим регламентом, может рассчитывать на успех. Это в достаточной степени относится и к управленческому действию с использованием дискурса как технологии» [9].

По отношению к управленческому дискурсу операции — это «действия, связанные, с одной стороны, с композиционной организацией текста и его структурных единиц, а с другой стороны, — с отбором из арсенала языковых средств именно тех, которые позволят при их речевом использовании наиболее успешно достичь прагматических целей в рамках требований, заданных условиями коди-

рования» [9]. Эти условия в первую очередь зависят от конкретной коммуникативной ситуации.

Необходимо отметить, что как кодовые единицы при этом выступают прежде всего лексемы (слова) — в качестве номинативных элементов языковой системы, а прагматически важной закодированной информацией следует признавать то приращение в их смысловом содержании, которое производно как от системных языковых оппозиций (например, антонимических, синонимических), так и от характера соединения, расположения слов, а также от их частотности в коммуникативных структурах. Одной из важнейших особенностей коммуникативной ситуации, находящей свое кодовое отражение в речи Президента, является ее проекция на социально значимые реалии, например, структурный состав субъектов власти, области адресного применения властных полномочий, политико-экономическую ситуацию и т.д.

В рамках реализации управленческого дискурса как коммуникативной технологии требования к языку как к коду коммуникации власти во взаимоотношениях государства и общества осуществляются через функциональную дифференциацию языкового кода, формируя, в дополнение к нему, новые средства коммуникации, в том числе и власть, которая специально регулирует мотивацию принятия предложений в условиях селекционного выбора. Заслуживающей внимания особенностью коммуникативного кода выступает способность предполагать социальные ситуации с возможностью выбора для каждого из субъектов системы «государство—общество».

Мы определили актуальное для информационного общества понимание управленческого дискурса как «технологии социальной коммуникации, имеющей в демократическом обществе цель способствовать селекции, желательной для субъекта управления» [9]. Под технологией понимается совокупность способов управленческого воздействия на общество с помощью языковых «инструментов», адекватных ситуации, целям и задачам коммуникативной интенции.

Подобное определение позволяет интегрировать любой вид управленческого дискурса в единый тип и рассматривать репрезентирующие его дискурсивные практики, жанры и стили, как «спектр аргументативно-манипулятивных речевых технологий» [9].

Рассматривая дискурс в функциональном аспекте, следует выделить у управленческого дискурса следующие функции: «а) институциональная, которая определяет специфику нормативно-правового регулирования, б) трансляционная, связанная с трансляцией информации, в) функция обратной связи, г) манипулятивная, способствующая желательной селекции, д) репрезентативно-стратифицирующая, побуждающая субъектов взаимодействия к осознанию собственного положения, е) посреднически-интегрирующая функция, в результате реализации которой управленческий дискурс выступает как связующее звено между государством и обществом» [9].

В качестве адресата специфической управленческой направленности выступает не только конкретная аудитория, но и (в условиях глобализации всех сфер социального бытия, а также наличия средств массовой коммуникации) мировое сообщество. Данную единицу социальной реальности в настоящее время в научном рассмотрении можно считать уже достаточно признанной.

Мировое сообщество — следствие глобализации. Ее, с одной из существующих в науке точек зрения, принято квалифицировать как положительный процесс, который может являться гарантом целостности социального мира и его развития. Мировое сообщество как социальная общность планетарного масштаба интегрируется прежде всего в связи с необходимостью борьбы с глобальными проблемами, а также на основании приверженности различных субъектов общечеловеческим ценностям. В свою очередь они производны от такой типологической характеристики личности, как здравый смысл, позволяющий вычлнить во всеобщем и множество значимых для индивида, для национально-гражданских общностей ценностей — в том числе материально-экономических. Они являются базисными если не для всех остальных ценностей, то для большинства из них. «Сложный и противоречивый характер сегодняшней экономической ситуации в стране и регионах явился фактическим результатом чрезмерного завышения... возможностей рыночного механизма саморегулирования производства и товарно-денежных отношений» [5. С. 517], поэтому апелляция к общечеловеческим ценностям (в частности, к материальным) как регуляторам внутри- и межгосударственных отношений становится типичным приемом политического дискурса. Предложенные общие положения могут быть подтверждены анализом выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 г. [10].

Поскольку содержание рассматриваемого дискурса носит вполне определенный характер — касается экономической сферы, непосредственными адресатами дискурса выступают бизнес-сообщества и конкретные представители бизнеса, принимающие участие в работе форума. Однако Президент расширяет аудиторию следующим рядом агентивных номинаций: «руководители международных организаций», «лидеры государств», «авторитетные политические деятели» [10], т.е. обращается к тем, от чьей воли и деятельности зависит экономическое благосостояние мировой экономики и достижение общечеловеческих витальных ценностей.

Одновременно то, что интенциональная направленность дискурса ориентирована именно на мировое сообщество, эксплицируется в переносных агентивных собирательных номинациях типа «мир», «все страны» и т.п. Это, впрочем, не исключает выделение в данной целостности сообществ какого-либо универсального признака, например, возрастного (молодежь), профессионального (бизнес, сервис, технологические альянсы). Подобная амбивалентность усиливает функцию воздействия, являющуюся определяющей для дискурса.

Концептуальной доминантой предложенного Президентом анализа положения дел в мировой экономике является ее глобализация, потому что проблемы ее состояния и развития в настоящее время носят глобальный характер. Это выражается в том, что они затрагивают все страны мира, носят системный характер, охватывают все сферы жизни. Следовательно, никто не может избежать воздействия глобализма экономики — как положительного, так и отрицательного. Элементарный контент-анализ позволяет вычлнить основные условия общих усилий и мер по преодолению экономических проблем, предлагаемых для мирового сообщества Президентом Путиным. Частотными словами и словосочетаниями являются следующие: «интеграция», «кооперация», «взаимодействие», «альянсы»,

«совместные проекты», «кооперативные связи», «интеграционные структуры», «интеграционные объединения», «единый рынок» [10].

Социально одобряемыми и приемлемыми для мирового сообщества, по мнению Президента, подобные интеграционные процессы могут быть лишь при условии равноправности сторон, партнерства и взаимной выгоды. Это исключает для ведущих стран мира возможность «закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения» [10]. Подобное, разумеется, будет восприниматься социумом «обделенных» субъектов мирового сообщества как несправедливость и неравноправие, т.е. станет плодотворной почвой для конфликтных ситуаций, что чревато негативными последствиями.

Также в выступлении конкретизированы и социально значимые «болевы точки», на ликвидацию которых должны быть направлены объединенные усилия мирового сообщества. За счет равного и справедливого для всех его субъектов доступа к передовым технологиям могут быть решены актуальные экономические и социальные проблемы: станет возможно повысить производительность труда, но не за счет его интенсификации, а за счет внедрения современных технологий, появится реальная возможность минимизировать безработицу, можно будет с успехом осуществлять государственную поддержку малого и среднего бизнеса, развивать институт частной собственности — все это позволит обеспечить достижение общечеловеческих ценностей.

Следует подчеркнуть, что концептуальные послы квазиобществу в политическом дискурсе В.В. Путина органично сочетаются с личностными адресациями. Так, говоря о последствиях взрывного роста производительности труда в результате реализации колоссального технологического потенциала, Президент отмечает, что «изменится спрос на профессии и компетенции». Поэтому стоит общая задача «повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности». В частности, через совершенствование системы образования: необходимо переориентировать молодого человека, вступающего в жизнь, на инженерные специальности и естественно-научные дисциплины. Разумеется, здесь делается ставка на такую привлекательную, универсальную и максимально персонифицированную ценность, как личный жизненный успех. Он может быть напрямую связан с успешной предпринимательской деятельностью. Ставка на «малые формы» производства — малый и средний бизнес, приближенные к человеку, позволяют подчеркнуть его неповторимость, раскрыть лучшие черты личности, реализовать ее творческий потенциал на благо общества.

Президент считает, что весьма перспективной для самореализации личности в трудовой деятельности является сфера бытовых услуг. Общеизвестная ценность деятельности в данном секторе предопределяется потребностью современного человека в комфортных условиях жизни, а их обеспечение требует коллективных усилий.

Комфортные условия жизни напрямую связаны с важнейшей для каждого индивида ценностью, каковой является телесность. Глобальность данной ценности подтверждается тем, что в любом социуме здоровье образует важную ценностную сферу, поэтому необходимо заботиться о «здоровых» условиях жизни. Однако они не сводятся только к ее комфортности, потому обязательной для субъек-

тов производственной сферы задачей Президент признает не знающее никаких исключений «требование использования наилучших доступных технологий, отвечающих самым строгим экологическим стандартам».

«Как говорят с амвона, и ныне, и присно, и во веки веков читатель, зритель, слушатель обречен иметь дело с публицистическим (рефлексивным) образом социальной реальности. Образ этот имеет под собой двойственное исходное основание: он фундируется вербально-визуальными идеологемами, которые порождаются, с одной стороны, социальным (народным) заказом на значимую информацию, а с другой стороны — официальным (властным) его аналогом. Это дуальность первого порядка: от медиатекстуального синтеза двух идеологемных потоков в решающей степени зависят объективная „прямота“ или субъективная „кривизна“ отображенной в прессе повседневной реальности» [2. С. 5]. Дуальность второго порядка, как пишет П.Н. Киричек, такова: «...с двух сторон информационные сигналы, адекватные потребностям массы и интересам элиты, посылаются на рынок идей, взглядов, мнений. Сталкиваясь в информационном пространстве, они дают в итоге социально-политическую результирующую. Ее вектор во многом зависит от „сотрудничества“ народно-массового и властно-журналистского мнений по поводу одного и того же социального факта, события, явления. И здесь, даже при резком расхождении взглядов, информационные регуляторы должны содействовать общественному согласию и политической стабильности, не допуская подавления одного мнения другим: в противном случае истина, способная примирить всех граждан региона, не приближается, а скорее отдаляется» [2. С. 6].

Многие из вычлененных нами в речи Президента положений формально относятся к характеристике ситуации в Российской Федерации. Однако международный статус форума лишает предложенный Президентом анализ локальной отнесенности только к России, а публичность выступления Президента и актуальные смысловые доминанты дискурса не позволяют считать его в условиях глобализации региональным управленческим дискурсом. По своей направленности это политический дискурс, очевидно адресованный мировому сообществу — социальной общности высшего порядка, объединенной единым информационным пространством, пониманием первостепенной роли знания и новейших технологий, осознанием всеобщей взаимосвязанности и взаимозависимости и стремлением к достижению общечеловеческих ценностей. Среди них в политическом дискурсе Президента Российской Федерации выделены такие: в сфере межгосударственных отношений — равноправное партнерство, взаимная выгода, в сфере социальной — минимизация безработицы, «интеллектуализация» труда за счет внедрения передовых технологий, создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала личности через образование, предпринимательскую деятельность, в сфере экономической — государственная поддержка малого и среднего бизнеса в том числе через международные финансовые организации, укрепление института частной собственности, в сфере витальной — создание экологически безопасных и комфортных условий жизни для всех и каждого.

Крайне важным представляется положение, что «современное общество не может успешно развиваться в демократических параметрах, если в его основах не бу-

дет происходить рационального замещения элементов государственного управления аналогами социального управления» [4. С. 11].

Таким образом, в социологическом аспекте типологическими характеристиками политического дискурса (как разновидности управленческого дискурса) являются его адресованность мировому сообществу, рассмотрение глобальных проблем и внимание к общечеловеческим ценностям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Анисимов А.С.* Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков, 1989.
- [2] *Киричек П.Н.* Дуальность массмедийной коммуникации // Научный вестник Кубанского государственного университета. Медиакоммуникация. 2015. № 1. С. 5—11.
- [3] *Киричек П.Н.* Массмедийный дискурс этнополитической коммуникации // Коммуникология. 2016. Т. 4. № 1. С. 29—41.
- [4] *Киселев А.Г., Киричек П.Н.* Периметр государственного управления: проблема основного звена // Власть. 2015. № 12. С. 5—11.
- [5] *Киселев А.Г., Киричек П.Н.* Реальные и номинальные коллизии в арсенале государственного управления // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. Т. 16. № 3. С. 510—518.
- [6] *Троцук И.В.* Анализ текстовых данных в социологии: основания систематизации концептуальных моделей, методологических принципов и методических решений. Дис. ... д.с.н. М., 2014.
- [7] *Шилина С.А.* Управление субъекта власти как социолингвистический код коммуникации. Орел, 2009.
- [8] *Шилина С.А.* Управленческий дискурс как технология коммуникативного взаимодействия государства и общества // Вестник Поволжского института управления. 2011. № 4. С. 4—10.
- [9] *Шилина С.А.* Управленческий дискурс как технология коммуникации в системе отношений государства и общества. Дис. ... д.с.н. М., 2015.
- [10] Стенограмма выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2016 // URL: <https://rg.ru/2016/06/17/reg-szfo/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-na-pmef-2016.html>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-116-123

POLITICAL DISCOURSE AS A MANAGERIAL DISCOURSE: APPROACHES TO DEFINITION AND INTERPRETATION*

S.A. Shilina

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky,
Bezhitskaya St., 14, Bryansk, 241036, Russia
(e-mail: supershili2012@yandex.ru)

Abstract. The article considers definitions and features of political discourse interpreted by the author as a managerial discourse. Based on the speech of the President of the Russian Federation V.V. Putin at the St. Petersburg International Economic Forum in 2016, the author identifies attributes that constitute the political discourse, and provides quite an innovative interpretation of discourse as a social communication

* © S.A. Shilina, 2016.

technology. The definition of the managerial discourse as a communicative technology leads to the interpretation of language as a code of interaction between society and the state; and the key feature of this communicative code is its ability to constitute social situations with a number of choices for all subjects of the system 'the state — society'. At the same time, such a communication seamlessly combines common orientations and identity patterns. The author believes that one of the most important characteristics of the communicative situation reflected in the codes of the Russian President speech is its projection on the socially significant realities, such as the structural composition of power, the scope of power, political and economic situation, etc. The content of this political discourse is so well defined (economic issues) that its direct addressees are business communities and entrepreneurs taking part in the forum. However, the Russian President broadens the audience by some agentive nominations like "the heads of international organizations", "leaders of the countries", and "reputable politicians", thus appealing to those who determine the situation in the global economy, and, hence, the common values of all countries of the world. The author concludes that the sociologically relevant typological characteristics of the political discourse are as follows: international community as a target audience, addressing global challenges, and attention to universal values.

Key words: political discourse; managerial discourse; communication technology; text; language; code; international community

REFERENCES

- [1] Anisimov A.S. *Tehnologizacija: ee priroda i social'naja rol'* [Technologization: Its Nature and Social Role]. Har'kov; 1989 (In Russ).
- [2] Kirichek P.N. Dual'nost' massmedijnoj kommunikatsii [Duality of mass-media communication]. *Nauchnyj vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta. Mediakommunikatsija*. 2015;(1):5—11 (In Russ).
- [3] Kirichek P.N. Massmedijnyj diskurs etnopoliticheskoj kommunikatsii [Mass media discourse of ethno-political communication]. *Kommunikologija*. 2016;4(1):29—41 (In Russ).
- [4] Kiselev A.G., Kirichek P.N. Perimetr gosudarstvennogo upravlenija: problema osnovnogo zvena [The scope of public administration: The problem of the main link]. *Vlast'*. 2015;(12):5—11 (In Russ).
- [5] Kiselev A.G., Kirichek P.N. Real'nye i nominal'nyekollizii v arsenale gosudarstvennogo upravlenija. [Real and nominal collisions in the arsenal of public administration]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016;16(3):510—518 (In Russ).
- [6] Trotsuk I.V. *Analiz tekstovykh dannyx v sotsiologii: osnovanija sistematizatsii kontseptualnykh modelej, metodologicheskikh printsipov i metodicheskikh reshenij*. [Analysis of Textual Data in Sociology: The Grounds for Systematization of the Conceptual Models, Methodological Principles and Techniques] [thesis]. Moscow; 2014 (In Russ).
- [7] Shilina S.A. *Upravlenie sub'ekta vlasti kak sociolingvisticheskij kod kommunikacii* [Personal Authority as a Social-Linguistic Code of Communication]. Orjol; 2009 (In Russ).
- [8] Shilina S.A. Upravlencheskij diskurs kak tehnologija komunikativnogo vzaimodejstvija gosudarstva i obshchestva [Managerial discourse as a technology of communicative interaction of the state and society]. *Vestnik Povolzhskogo instituta upravlenija*. 2011;(4):4—10 (In Russ).
- [9] Shilina S.A. *Upravlencheskij diskurs kak tehnologija komunikatsii v sisteme otnoshenij gosudarstva i obshchestva* [Managerial Discourse as a Technology of Communication in the System of Relations Between the State and Society] [thesis]. Moscow; 2015 (In Russ).
- [10] Stenogramma vystuplenija Vladimira Putina na PMJEF-2016 [Transcript of Vladimir Putin's Speech at the St. Petersburg International Economic Forum-2016]. Available from: <https://rg.ru/2016/06/17/reg-szfo/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-na-pmef-2016.html>.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-124-132

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ*

И.В. Орлова¹, Т.Д. Соколова²

¹Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 84, Москва, 119571, Россия,
(e-mail: iksi02@rambler.ru)

²Высшая школа экономики,
Малый Трехсвятительский пер., 8/2-1, Москва, 109028, Россия
(e-mail: 210189@bk.ru)

Авторы рассматривают функции и формы деятельности общественных советов как субъектов общественного контроля. В статье приводится информация о нормативно-правовой основе общественного контроля и деятельности его субъектов в Российской Федерации. Основными проблемами функционирования общественных советов являются: фрагментарный характер существующей нормативно-правовой базы, низкая вовлеченность общественности в решение социально-важных вопросов, требующих активного участия граждан. Эмпирическую базу статьи составили данные исследования, проведенного в 2015—2016 гг. Комитетом общественных связей Правительства города Москвы совместно с Общественной палатой города Москвы во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания Общественной палаты от 23.06.2015 г. в части мониторинга эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти субъектов Федерации. Для реализации задач, предусмотренных мониторингом, было проведено обследование общественных советов органов государственной власти и местного самоуправления, в основу которого легло анкетирование субъектов общественного контроля. Результаты исследования показали, что общественные советы при органах исполнительной власти Москвы не имеют согласованной политики в отношении кадрового состава, функций и нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляют свою деятельность, а также выполняют разные и зачастую несопоставимые по масштабу функции. На основе данных исследования авторы выдвигают ряд положений о повышении эффективности работы общественных советов при унификации регламентирующих их деятельность документов и, как следствие, форматов работы, повышении уровня информированности населения о деятельности субъектов общественного контроля и возможностях личного включения в таковую. Повышение информированности населения может также способствовать повышению заинтересованности граждан в участии в общественном контроле, однако сохраняется и задача создания реальных механизмов вовлечения россиян в практики общественного контроля.

Ключевые слова: гражданское общество; общественный контроль; общественные советы; неправительственные организации; нормативно-правовое регулирование; информированность населения, прозрачность органов государственной власти

* © Орлова И.В., Соколова Т.Д., 2016.

Участие граждан в управлении делами государства может осуществляться как непосредственным образом — путем реализации своих прав и обязанностей, например, посредством активного и пассивного избирательного права, так и непосредственным участием в реализации государственных решений, в осуществлении общественного контроля над органами государственной власти. Общественный контроль является важным средством обеспечения законности и демократии, повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, снижения рисков принятия и реализации противоправных и (или) противоречащих общественным интересам решений, обеспечения социальной и политической стабильности, более полной реализации конституционных прав граждан на участие в управлении делами государства.

В последние годы российская нормативно-правовая база в части регулирования деятельности субъектов общественного контроля и органов государственной власти претерпела существенные изменения. Однако анализ практики общественного контроля свидетельствует о том, что целостная его система пока до конца не сформировалась, эффективность проводимых мероприятий в большинстве случаев невелика и не приводит к улучшению качества государственного или местного самоуправления. Одна из главных проблем состоит в том, что правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации носит фрагментарный характер. В частности, не разработаны его основные формы и методы, в большинстве случаев отсутствуют конкретные механизмы его реализации — нередко документы ограничиваются исключительно констатацией наличия общественного контроля, а имеющиеся в отдельных законах и нормативных актах развернутые формулировки не объясняют сути и, главное, порядка осуществления общественного контроля. Другими словами, существующее правовое регулирование не способствует тому, чтобы деятельность отдельных субъектов и институтов общественного контроля сложилась в целостную систему.

Вторая большая проблема — низкая вовлеченность населения и институтов гражданского общества в лице общественных организаций в осуществление общественного контроля за деятельностью государственных органов и местного самоуправления. Поэтому создание условий (стимулирование) для вовлечения широких масс и институтов гражданского общества в лице реальных некоммерческих (неправительственных) организаций в осуществление общественного контроля за деятельностью государственных органов и местного самоуправления становится острой социально-политической задачей.

Долгий период времени основным документом, регламентирующим деятельность неправительственного сектора, являлся принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об общественных организациях». Деятельность общественных палат и советов осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 32 «Об Общественной палате Российской Федерации» и Постановлением Правительства от 2 августа 2005 г. № 481. В последний в 2013 г. были внесены правки, и сейчас Постановление № 481 носит название «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агент-

ствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации». Описание ряда контрольных механизмов также содержится в следующих законодательных актах: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»; Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса „Российская общественная инициатива“»; Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и др.

Для осуществления гражданских прав в 2005 г. была создана Общественная палата, целесообразность работы которой объяснялась объективной необходимостью выстраивания новых каналов взаимодействия государства и общества. Общественной палате было предназначено обеспечить связь федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и граждан. Создание новых институтов и появление новых механизмов взаимодействия между этими акторами подразумевали существенную трансформацию нормативно-правовой базы. С 2014 г. основным законом, регулирующим контрольные функции неправительственного сектора, стал Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Данный закон определил в качестве субъектов общественного контроля Общественную палату, региональные общественные палаты, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. При необходимости, в случаях, предусмотренных законодательством, могут создаваться и иные формы, отвечающие поставленным задачам, в том числе контролерами могут выступить общественные инспекции (работают совместно с госорганами), группы общественного контроля или иные организационные структуры общественного контроля.

В соответствии с этим законом под общественным контролем понимается «системная деятельность, осуществляемая в общественных интересах негосударственными субъектами (институтами гражданского общества и отдельными гражданами), направленная на выявление и устранение нарушений правовых норм органами государственной власти и местного самоуправления, а также их должностными лицами. Общественный контроль является важным средством обеспечения законности в сфере государственного управления, защиты интересов граждан...» [13].

Согласно данному закону граждане правомочны непосредственно участвовать в процессе принятия политических решений, контролировать эффективность и добросовестность предоставления государственных услуг, их качество. Все факты нарушений, выявленные посредством наблюдения субъектов гражданского контроля за деятельностью сотрудников ЖКХ, образовательных организаций, судов, учреждений культуры, должны быть в обязательном порядке по факту проверок представлены общественности. Немаловажно, что субъектам общественного контроля теперь подотчетна и сфера государственных закупок, также они наделены правом защищать граждан в суде.

Общественные советы как форма гражданского участия в социальном управлении существуют на протяжении более десяти лет. В частности, общественные советы при органах исполнительной власти города Москвы начали создаваться в рамках реализации статьи 9 Закона города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями». На момент формирования их основной задачей было обеспечение взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и органов государственной власти, учета интересов жителей Москвы при выработке и реализации социальной политики города. Современное законодательство существенно изменило роль уже существующих общественных советов при исполнительных органах власти, наделив их полномочиями контроля за деятельностью исполнительного органа власти. Возникла острая необходимость формирования общественных советов на основе новых принципов: независимости, вовлеченности, всеохватности, открытости.

Для выработки новых стратегий развития гражданского участия в государственном управлении прежде всего необходимо провести анализ существующей практики формирования советов, оценить их функции и полномочия, а также механизмы осуществления деятельности. В московском регионе данное исследование было проведено Общественной палатой Москвы и Комитетом общественных связей Правительства Москвы во исполнение поручений Президента по итогам пленарного заседания Общественной палаты от 23.06.2015 г. в части мониторинга эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти субъектов Федерации.

В ходе мониторинга было выявлено, что в настоящее время при органах исполнительной власти на территории Москвы действуют два типа общественных советов: профильные и при префектурах административных округов. Профильные общественные советы созданы при 10 из 47 департаментов Правительства Москвы и 1 — при Региональной энергетической комиссии в статусе Общественно-экспертного совета. Общественные советы при префектурах функционируют во всех 11 административных округах города. Общее количество общественных советов, действующих при органах исполнительной власти Москвы — 22.

Общественные советы действуют на основании положений, утвержденных приказами руководителей соответствующих органов исполнительной власти города. Анализ этих положений выявил разный уровень включенности общественных

советов в процесс принятия решений, разный круг полномочий и разный состав, а, соответственно, разный функционал и характер деятельности.

Даты создания общественных советов разнятся от 2005 до 2014 г. Старейший общественный совет создан в 2005 г. при префектуре Центрального административного округа столицы (ЦАО), наиболее «молодой» совет действует в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) с 2012 г. Профильные общественные советы начали создаваться при органах исполнительной власти Москвы с 2011 г., последний совет был создан при Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города в 2014 г.

Сроки полномочий общественных советов различны — от года до 4 лет, некоторые действуют бессрочно.

Качественный анализ состава общественных советов позволил выделить три типа их участников: представители органов исполнительной власти (муниципалитетов, депутаты Московской Государственной думы (МГД), члены Общественной палаты Москвы); профильные эксперты (представители учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, сферы ЖКХ, деятели культуры, спорта, служители церкви, предприниматели); представители гражданского общества (члены некоммерческих организаций) (табл. 1).

Таблица 1

Состав участников общественных советов города Москвы

Представители органов исполнительной власти	Профильные эксперты	Представители гражданского общества
Представители муниципалитетов, депутаты МГД	Представители учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, сферы ЖКХ, деятели культуры, спорта, служители церкви, предприниматели	Представители некоммерческих организаций, члены Общественной палаты города Москвы

В состав общественных советов также часто входят представители некоммерческих организаций регионального и федерального уровня. Зачастую к работе общественных советов привлекаются известные деятели искусства, культуры, спорта, представители средств массовой информации. Численность состава общественных советов представлена в табл. 2.

Таблица 2

Численность общественных советов при органах исполнительной власти Москвы

Общественные советы	Численность
Ведомственные	От 19 до 40 человек
При префектурах	От 8 до 50 человек

Для выполнения обозначенных задач общественные советы, согласно результатам мониторинга, реализуют следующие полномочия: принимают решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-экономического развития Москвы; запрашивают в установленном порядке у органов госу-

дарственной власти Москвы, органов местного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы совета; приглашают на свои заседания представителей органов государственной власти города, органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию; создают комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности советов; поддерживают гражданские инициативы; проводят мероприятия, способствующие консолидации общественных сил.

Основными форматами работы общественных советов по данным мониторинга являются: заседание президиума (иного руководящего органа), заседания комиссий и рабочих групп. Для работы с внешними аудиториями проводятся круглые столы, открытые дискуссии, значительно реже — конференции, стратегические сессии и мастер-классы. Основным механизмом взаимодействия с общественностью является работа общественных приемных, в которой осуществляется прием населения (рассматриваются жалобы, гражданские инициативы, рекомендации).

Показательным является тот факт, что принятый в 2014 г. Федеральный закон «Об общественном контроле» усилил позиции общественных советов, наделив их статусом субъектов общественного контроля, однако многие их функции все еще реализуются не в полной мере, не зафиксировано использование многих механизмов общественного контроля. Так, общественные советы практически не вносят предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, за редким исключением, например, в сфере градостроительства, не проводят общественные слушания по социально-значимым проблемам, не проводят экспертизу законопроектов, редко готовят предложения по общественно-политическим, социальным и культурным аспектам развития Москвы.

Также было выявлено отсутствие унифицированных подходов к оценке эффективности работы общественных советов и единых стандартов к подготовке нормативно-правовых документов, которые регламентировали бы численный состав, полномочия, требования, предъявляемые к членам советов, и сроки работы общественных советов. Остается не решенным вопрос открытости и информационной деятельности общественных советов при органах исполнительной власти. Как правило, очень трудно найти информацию об их работе: на основных страницах официальных сайтов органов исполнительной власти в большинстве случаев отсутствует информация о наличии общественного совета либо навигация для поиска данной информации затруднена. В единичных случаях на сайтах органов исполнительной власти размещена информация о нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность общественных советов и списки их состава, планы работы, протоколы заседаний, резолюции по обсуждению нормативно-правовой базы, информация о проведении независимой оценки качества услуг (реализации функции общественного контроля).

Размещение информации о деятельности, мероприятиях и результатах работы общественных советов носит единичный характер. В подавляющем большинстве случаев эта информация отсутствует на сайтах органов исполнительной власти в открытом доступе. Частично подобная информация размещена на сайте Обще-

ственной палаты Москвы. В отдельных случаях деятельность общественных советов освещается в окружных и городских средствах массовой информации. Доступ к информации о деятельности и результатах работы общественных советов крайне затруднен, освещение в средствах массовой информации можно оценить как незначительное. Выявленная ситуация не способствует формированию доверия к деятельности общественных советов со стороны москвичей. Недостатки в информационной деятельности можно расценить как фактор ограничения в осуществлении функций общественного контроля, предусматривающего обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан при принятии решений органами власти.

Результаты мониторинга показали важность работы по совершенствованию деятельности общественных советов как субъектов общественного контроля. Для этого необходимо выработать единый системный подход к организации и регулированию деятельности общественных советов. Единая модель должна закрепить базовые требования и подходы к организации работы общественных советов: принципы формирования состава и руководящих органов, позволяющие проводить независимый общественный аудит; определение целей, задач и основных направлений деятельности; порядок и формы организации работы; механизмы взаимодействия с органами исполнительной власти и обеспечения обратной связи; механизмы взаимодействия с другими субъектами общественного контроля и членами гражданского общества для создания эффекта синергии. Введение единых принципов формирования, определения целей, задач и основных направлений общественных советов, механизмов их взаимодействия с органами исполнительной власти, процедур общественного контроля способно значительно повысить эффективность общественных советов и обеспечить их готовность к выполнению возложенных на них законодательством функций.

Внедрение единой модели деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Москвы позволит создать систему, основная цель которой — достижение высокой эффективности исполнения функций и создание механизма поддержания высокого качества работы общественных советов.

Разработка и внедрение единых регламентов позволит активизировать деятельность всех созданных и формирующихся советов, создаст условия для их независимости и обеспечит эффективное включение в работу по следующим актуальным направлениям общественного контроля:

- проведение общественной экспертизы проектов решений и нормативно-правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти;

- изучение и обобщение общественного мнения по проблемным вопросам в сфере здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, социальной поддержки и т.д.;

- создание инструментов выражения и влияния общественного мнения на принятие решений, формирования «социального заказа»;

- подготовка рекомендаций органам государственной власти по актуальным для города Москвы вопросам;

- обеспечение постоянного и оперативного информирования населения города Москвы о деятельности советов;

— создание открытого информационного пространства для взаимодействия власти и общества.

Необходимо подчеркнуть важность изменения подходов и планов по расширению информационной деятельности общественных советов для укрепления доверия граждан к деятельности органов исполнительной власти, формирования их позитивного имиджа в части учета мнения и интересов населения Москвы при принятии и исполнении решений.

Широкое информирование о деятельности общественных советов, о достижениях, роли в общественном развитии, возможностях и полномочиях позволит продемонстрировать понимание органами исполнительной власти важности вовлечения граждан в работу государственных структур. Массированная информационная деятельность подчеркнет открытость и готовность органов исполнительной власти к налаживанию конструктивной обратной связи с гражданским обществом.

Изменение информационной политики поможет общественным советам реализовать один из основных механизмов общественного участия и занять достойное место среди институтов гражданского общества Москвы. Предложенные меры будут способствовать формированию постоянно действующего механизма обратной связи и контроля деятельности органов исполнительной власти со стороны общества как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата, и, как следствие, повышению эффективности общественного контроля на территории города в целом.

Безусловно, изменения не произойдут автоматически. Необходимы усилия со стороны всех субъектов — участников общественного контроля. Принятый закон позволяет расширить сферы их деятельности, более широко вовлекать население в осуществление общественного контроля, оказание юридической и иной помощи лицам, участвующим в защите общественных интересов. Со своей стороны общественные организации могут создать систему связей для участия в контроле за деятельностью органов публичной власти, разработать методики общественного контроля. Защитить свои права и интересы население может только в том случае, если будет принимать активное участие в разработке нормативных актов, формировании социальных программ и планов развития общества, тем самым способствуя развитию демократической практики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Орлова И.В. Общественный контроль в сфере государственного управления // Россия XXI: Экономика. Политика. Культура / Под ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. Комаровского. М., 2015.
- [2] Соколова Т.Д. Идея гражданского контроля в европейской политико-правовой мысли // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. № 1. С. 141—149.
- [3] Соколова Т. Д. Социально-политические факторы институционализации форм общественного контроля в России // ПОИСК. 2016. № 2. С. 72—82.
- [4] Социальная политика в Московском регионе: тренды развития и опыт реализации / Под общ. ред. Н.Б. Починок. М., 2015.
- [5] Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

THE ROLE AND FUNCTIONS OF PUBLIC COUNCILS IN ENHANCING EFFECTIVENESS OF REGIONAL STATE AUTHORITIES*

I.V. Orlova¹, T.D. Sokolova²

¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119606, Russia
(e-mail: iksi02@rambler.ru)

²Higher School of Economics
Maly Tryokhsvyatitelsky Per., 8/2-1, Moscow, 109028, Russia
(e-mail: 210189@bk.ru)

Abstract. The authors examine functions and activities of public councils as subjects of public control, and provide data on the legal regulation of public control and activities of its subjects in the Russian Federation. The article underlines the following main problems in the work of public councils: the fragmented legal regulation, and the low public involvement in solving socially significant problems that require active participation of citizens. The article is based on the empirical study conducted in 2015—2016 by the Committee of Public Relations of the Government of Moscow in cooperation with the Public Chamber of Moscow according to the orders of the Russian President given at the plenary session of the Public Chamber on 23.06.2015 in the framework of monitoring the effectiveness of public councils under the executive branch of the Federation subjects. The study of the activities of public councils under the state and local authorities was conducted in the form of a survey, which revealed that the public councils under the executive bodies of Moscow do not pursue a coordinated policy in respect of personnel, functions and regulations, and often perform different and incomparable in scale functions. Based on the research findings, the authors suggest some measures to enhance the effectiveness of public councils, such as unification of legal regulations and working formats, which would improve public awareness of the public councils' activities and of the opportunities of personal involvement in such. However, the raising awareness and increasing interest in the public control should be accompanied by the development of effective mechanisms of involvement in the public control practices.

Key words: civil society; public control; public councils; non-governmental organizations; legal regulation; public awareness; transparency of state authorities

REFERENCES

- [1] *Orlova I.V.* Obschestvennyj kontrol' v sfere gosudarstvennogo upravleniya [Public control in the field of public administration]. L.E. Il'icheva, V.S. Komarovskii (Eds.). *Rossiya XXI: Ekonomika. Politika. Kul'tura*. Moscow; 2015 (In Russ).
- [2] *Sokolova T. D.* Ideya grazhdanskogo kontrolya v evropejskoj politiko-pravovoj mysli [The idea of civil control in the European political and legal thought]. *RUDN Journal of Sociology*. 2015;15(1):141—149 (In Russ).
- [3] *Sokolova T.D.* Social'no-politicheskie faktory institucionalizacii form obschestvennogo kontrolya v Rossii [Social-political factors of public control forms institutionalization in Russia]. *POISK*. 2016;(2):72—82 (In Russ).
- [4] *Social'naya politika v Moskovskom regione: trendy razvitiya i opyt realizacii* [Social Policies in the Moscow Region: Trends of Development and Implementation]. N.B. Pochinok (Ed.). Moscow; 2015 (In Russ).
- [5] Federal'nyj zakon No. 212-FZ ot 21 iyulya 2014 g. "Ob osnovah obschestvennogo kontrolya v Rossijskoj Federacii" [Federal Law No. 212 "On the Basis of Public Control in the Russian Federation" adopted on July 22, 2014] (In Russ).

* © Orlova I.V., Sokolova T.D., 2016.



НАШИ АВТОРЫ

Бернштейн Генри — почетный профессор Школы восточных и африканских исследований Университета Лондона, адъюнкт-профессор Колледжа гуманитарных наук и исследований социального развития Китайского сельскохозяйственного университета Пекина (e-mail: henrybernstein@hotmail.co.uk).

Герасимова Ксения Георгиевна — старший преподаватель кафедры методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (e-mail: GerasimovaKG@gmail.com).

Довбыш Евгений Геннадьевич — аспирант Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (e-mail: edovbysh@gmail.com).

Мудров Сергей Александрович — кандидат социологических наук, доцент факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета (e-mail: mudrov@tut.by).

Музыкант Валерий Леонидович — доктор социологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов (e-mail: vmouzyka@mail.ru).

Огородов Александр Сергеевич — соискатель кафедры теории и социологии управления Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: esm66@yandex.ru).

Орлова Ирина Викторовна — доктор философских наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (e-mail: iksi02@rambler.ru).

Плотичкина Наталья Викторовна — кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета (e-mail: oochronos@mail.ru).

Саранчук Сергей Юрьевич — директор по персоналу научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (e-mail: saranchuk@uvz.ru).

Ситников Алексей Владимирович — доктор философских наук, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: av.sitnikov@migsu.ranepa.ru).

Соколова Татьяна Дмитриевна — аспирант Института социально-политических исследований Российской академии наук, старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: 210189@bk.ru).

Хавлла Хошави Мухаммад Хавлла — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (xoshawi82@yahoo.com).

Чевтаева Наталия Геннадьевна — доктор социологических наук, доцент, заведующая кафедрой управления персоналом Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: natalya.chevtaeva@ui.ranepa.ru).

Шанин Теодор — почетный профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социальных и экономических наук, почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук (e-mail: shanin@universitas.ru).

Шилина Светлана Александровна — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии и социальной работы Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (e-mail: supershili2012@yandex.ru).

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 26 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ♦ **аннотация** (резюме) объемом 200—250 слов на русском и английском языках;
 - ♦ **список 7—8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;

- ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес.

Решение о публикации выносится в течение трех месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редакция не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.



AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and inter-disciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 26 to 50 thousand symbols for articles; from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 200—250 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7—8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address.

The decision as to publication is made within three months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.